С. А.
АНДРЕЕВСКИЙ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время…»

- Сергей Аркадьевич Андреевский
  - Часть третья
    - I
    - II
    - III
    - IV
  - Часть четвертая
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII
    - XIX
    - XX
    - XXI
    - XXII
    - XXIII
    - XXIV

- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII
- XXXIX
- XL
- XLI
- XLII
- XLIII
- XLIV
- XLV
- XLVI
- XLVII
- XLVIII
- XLIX
- L
- LI
- LII

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19

Сергей Аркадьевич Андреевский
Книга о смерти. Том II

Часть третья

I

Теперь уже я могу просто рассказывать свою жизнь. И все, что бы я ни написал, будет соответствовать заглавию книги.

* * *

Прошло еще два года. Каждая их минута была по-своему любопытна и значительна. Даже то, что виделось во сне, вполне захватывало, хотя бы на время, мою душу. Возможно ли удержать все это!.. Пришлось бы не жить, а только записывать. И сколько бы получилось повторений, общеизвестных и ненужных, тогда как в самой жизни все это выходило как бы новым и необходимым! Но эти мгновения уже успели исчезнуть бесследно и для меня. Оглядываясь назад, я могу довольно кратко передать мою жизнь за это время.

Возвратившись в начале августа из Парижа, я вступил в привычные условия начинающегося рабочего года. Вскоре приехала из Друскеник моя семья и начались судебные дела. В эту осень я задумал привести в порядок материалы настоящей книги, чтобы увидеть хотя бы начало ее отпечатанным на ремингтоне. Более всего меня пугали первые строки, первые страницы. Но я заставил себя просмотреть их снисходительно, надеясь, что дальше пойдет лучше. Оказалось нужным приделать более подробную автобиографию, и я весь углубился в свое далекое прошлое. Писал я при лампе, в поздние часы, перед сном, а наутро продолжал переживать свою повесть на прерванном месте, не замечая настоящего и поджидая ночных часов, чтобы в тишине записывать развернувшуюся передо мною ясную картину. Так пробежали осенние месяцы и наступила зима.

В ноябре сестра моя задумала усиленно вызывать меня в Харьков, чтобы я прочел там какую-нибудь лекцию. У меня был в запасе только сброшюрованный фельетон о Тургеневе, помещенный года за два перед тем в «Новом времени», и я решил прочесть его публично. Списавшись с профессором Багалеем насчет дня лекции и залы, я около середины декабря выехал в Харьков. Перед самым выездом я сдал на ремингтон страницы этой книги, относящиеся к моей студенческой жизни, а потому улицы Харькова были в то время особенно близки моему воображению.

Множество раз я бывал в Харькове и ранее, с тех пор как в далекие годы впервые покинул его перед поездкой для женитьбы.

Описание моих последовательных свиданий с Харьковом составило бы целую историю сладких и мучительных прикосновений к прошедшему. Все это уже перегорело во мне. Но никогда в мои предыдущие поездки я не возобновлял в своей памяти того маленького домика за Нетечею, в котором тянулись страшные дни моей мучительной тоски. Я отмахивался от этого призрака и в душе побаивался его. И вот теперь, когда я заживо перестрадал свой кошмар на бумаге, я с какою-то жуткою храбростью собирался навестить именно этот уголок города.

На другой же день по приезде я отправился совершить эту прогулку. Мне захотелось пойти туда пешком. Мелкий снег кружился в легком морозном ветре. Из своей гостиницы я пробрался через Павловскую площадь, глядя себе под ноги и встречая кое-где булыжник, обнаженный ветром среди крепкого снега. Влево желтели грязные, обветшалые университетские здания, а направо открывался поворот в улицу, ведущую за Нетечу. Я вступил на кирпичный тротуар и пошел вдоль тех же москательных и железных лавок, мимо которых тридцать лет тому назад ходил в университет. Я ждал: не екнет ли сердце прежнею тоскою? Все вокруг пестрело в моих глазах поразительно одинаково с каждым мгновением тех давних дней, как будто я и теперь возвращаюсь с лекции, как будто и мой умерший брат еще студент и будто передо мною снова лежит неразрешимою задачею предстоящая, начинающаяся жизнь. Я не противился этому впечатлению. Я даже радовался тому, что моя прежняя тоска так явственно себя напоминала. Грудь моя стеснилась – и я вздохнул, но тут же почувствовал, что во мне живет не настоящее, а прошедшее. Никакого страха я не испытывал. Нечего было и настраиваться на старый лад! Мне было грустно, без всякой примеси того ужасающего отчаяния перед неразрешимостью… А разве что-нибудь было разрешено? Нет. Но теперь казалось, что это вовсе и не нужно.

И я храбрее пошел вперед. Ни мост через Нетечу, ни пустырь налево, по которым прежде каждый шаг казался мне «смертною ступенью», – не смутили меня. Но я не сразу узнал среди низких домиков то место, где начиналась наша улица: в моей памяти вход в нее рисовался несколько иначе. Мне думалось, что с пустыря сейчас же завиднеется промежуток между домами. Пришлось, однако, взять немного вправо – и улица раскрылась, такая же узенькая и тихая. Вот он, вот, четвертый домик от угла. Те же три окошечка и запертая дверь на галерейку. На столбе ворот белая дощечка с надписью: «Н. Дувиной». Это наша хозяйка – Настасья Степановна Дувина. Значит, она овдовела, она еще жива. Ей теперь за семьдесят! Я простоял несколько мгновений на

деревянных мостках под замерзлыми окнами. Зачем туда входить? О чем разговаривать? Вот это мое немое присутствие подле той старухи за стеною – это и есть вечность… Пусть идет снег, пусть старуха доживает свои дни… Нет, я не войду…

На обратном пути в гостиницу я уже почти не узнавал своего давнишнего настроения, хотя передо мною восстановлялось очень живо наше хождение в университет. Придя к себе, в свой просторный угловой номер, я присел за стол перед диваном и стал смотреть на крутившийся за окнами снег. Был второй час дня – время окончания лекций. Как я тогда мучился вопросом: к чему ведет каждый наш день!! И вот теперь те же часы дня, то же время года, то же зимнее освещение и вопрос тот же и сам я тот же… Но теперь, сколько ни углубляйся в этот вопрос, уже не соскочишь с рельсов… Мало ли что! Теперь уже давно заведенная жизнь: всегда что-нибудь надо делать. Может быть, и не нужно, а надо. Да вот, что же лучше. Ведь я приехал только для того, чтобы прочесть лекцию. Публика купит билеты: надо отслуживать перед публикой.

В городе были расклеены на видных местах розовые афиши о моей лекции. Фамилии Тургенева и Андреевского были напечатаны громадными буквами. Меня не пугало это неимоверное сближение, и я не смущался судьбою предстоящей лекции. Профессор истории Багалей, маленький тщедушный человек в очках, с жидкой бородкой и сильным хохлацким выговором, ходил вокруг меня с тихою и выжидательною заботливостью. Он думал о барышах для своего любимого детища, городской библиотеки, и досадовал, что для моего чтения был свободен только зал Думы, гораздо менее поместительный, нежели зал Дворянского собрания.

В день лекции я должен был обедать у моего товарища по гимназии и университету, того самого, который когда-то, будучи студентом, жил со мною и братом в домике за Нетечею. Теперь он был ректором Харьковского университета. Я прошел через те самые сени, в которые мы все трое, еще мальчиками, вступали с прошениями о принятии нас в число вольнослушателей. Высокая комната смотрела обедневшею и неопрятною. Меня тотчас же позвали к «ректору». Я миновал громадную пустую залу заседаний Совета – истинное святилище, в котором когда-то решалась наша судьба – и был крайне удивлен, когда увидел, что позади этой величественной комнаты находился совсем крошечный кабинет ректора, какой-то голый и неуютный застенок с простеньким письменным столом и кучами бумажных дел на полу. Мы условились с моим другом насчет обеда, и я тотчас же вышел, встретив при выходе, за дверью кабинета, двух

студентов-просителей.

За обедом я признался товарищу, что ходил за Нетечу, и мы поговорили о Дувиных. Оказалось, что кроме нашей бывшей хозяйки, никого из обитателей домика не осталось в живых и что ранее всех умерла ее молоденькая замужняя дочь – умерла вскоре после того, как мы оставили квартиру.

После обеда я съездил к себе в гостиницу, чтобы переодеться для лекции. На лестнице Думы я застал поднимавшуюся и торопившуюся публику.

Все билеты были распроданы, и вполне счастливый Багалей попросил меня обождать еще несколько минут только для того, чтобы можно было продать последние приставные места, так как наплыв народа продолжался. Вскоре и эти места были заняты. Многие не попали на лекцию. Дальнейший вход был прекращен, и меня пригласили в зал. Эстрада, по которой я в него вступил, была сплошь занята профессорами, так что я с трудом пробирался мимо них к своему месту. Как только меня заметили, поднялись рукоплескания, сперва редкие, а затем сильные и дружные. Я стал у кафедры, положил на нее свою брошюрку, надел pince-nez и сразу с досадою убедился, что кафедра слишком низка и что текст лежит слишком далеко от моих глаз. Но рукоплескания еще продолжались. Я посмотрел в публику, готовясь к вступительной фразе. Передо мною чернела толпа во всю глубину зала и на балконе хор. В первом ряду молоденькая дама, с тонкой талией, в черном шелковом платье с белыми полосками, аплодировала мне в перчатках, очень приветливо, с благородною сдержанностью. Тем временем я успел найти нужный звук для первых слов и, выждав затишья, начал свое чтение внятно и просто. Тишина и внимание были тотчас завоеваны, и все прошло благополучно до самого конца. Я видел, что никто ни на минуту не испытывает скуки. Поэтому заключение лекции далось мне легко, с приятным предчувствием, что все мои слушатели остались довольны. Действительно: мне аплодировали горячо, в несколько приемов, так что я должен был трижды выйти на эстраду для неловких раскланиваний, с необходимою в этом случае и непонятною для меня самого улыбкой на лице.

Я сбыл свою лекцию!.. Мои глаза были утомлены, во рту у меня было сухо, но в то же время я был доволен своею усталостью. Я оставался в задней комнате, на диване, слушая похвалы… Ко мне вошла сестра – милая и радостная. Профессор Багалей пригласил нас к себе на чай. Толпа еще гудела вокруг, но уже можно было собираться к выходу. Нам подали шубы, и я с сестрою вдвинулся в массу народа. Я шел позади сестры, все с тою же усталостью на глазах. Мы уже спускались по ступеням

лестницы, сжимаемые со всех сторон, когда сестра, обернувшись ко мне, шепнула: «Посмотри, ведь вся эта публика – это ты!»

Но вот этого именно я вовсе не испытывал. Я думаю, что каждый, кто сколько-нибудь побывал на виду, никогда не чувствовал того, что о нем воображают другие. Никто никогда не наслаждался с спокойною совестью и в полной мере ни своею известностью, ни своею славою, ни даже своим величием. Каждому должно было казаться, что все, к чему он сделался сопричастным, создалось как-то помимо него, самою жизнью, и что сам он, внутри себя, остается ничтожным.

Кстати, вспоминаю, что в октябре этого же года я добыл билет на осмотр Зимнего дворца (Николай II жил тогда в Царском). В пасмурный и свежий день мы пошли туда с моим маленьким сыном и его гувернанткой. Мой мальчик заинтересовался только моделью одного парохода в Белой зале, где были собраны все подарки, поднесенные новой императорской чете, и после обхода всех комнат заметил: «Почему это везде изображено столько сражений?» Это было действительно преобладающее впечатление из всего, нами виденного в Зимнем дворце. Но я с любопытством осматривал комнаты Александра II и особую половину его жены. Мы видели рабочий кабинет императора, где помещалась и его спальня, в узеньком и темном отделении за перегородкою с двумя арками: позади этой перегородки, в простенке между арками, стояла его железная кровать, на которой он и скончался. На простыне, под одеялом, сохранились черные пятна крови. В этом застенке, составлявшем спальню, все было чрезвычайно неуютно. Параллельно кровати, очень близко против нее, стоял стеклянный шкаф с разными образцами военных форм. В темной нише виднелся киот с образами и горящею лампадкою, а возле висели портреты умерших детей государя и два простеньких платьица его покойной маленькой дочери. В кабинете, на разных столиках, были разложены скомканные, но свежие батистовые платки: камер-лакей объяснил нам, что государь, страдавший бронхитом, всегда приказывал заготовлять ему эти платки. Письменный стол был весь обставлен семейными фотографиями. Здесь же лежали на подносиках всевозможные ножики, ножницы, карандаши, ручки для перьев, очки, резинки, стеклышки и прочие невзрачные вещицы, составлявшие, очевидно, любимую рухлядь состарившегося человека, сделавшегося рабом своих привычек. На пепельнице, в стеклянном футлярчике, была сохранена недокуренная папироса, оставленная тут государем в день смерти. Нам показывали и чрезвычайно старое генерал-адъютантское серое пальто с красною подкладкою и засаленными

погонами, в котором Александр II всегда работал. В соседнем, более просторном кабинете, где принимались министры, – на обширном столе, покрытом зеленым сукном, – хранилось перо, которым подписано освобождение крестьян.

Половина государыни Марии Александровны находилась в другой стороне дворца. В более сохранном виде осталась только ее спальня, величественная темно-синяя комната, выходящая окнами во двор. Все в ней было под один цвет: и балдахин над широкою кроватью, и полуоткинутое одеяло, и просторные мягкие диваны, и грандиозные пустые столы, покрытые темно-синим сукном. На столике подле кровати, в стеклянном бокале, торчал тощий букетик, состоявший из одной розы и веточки ландыша, сохраненный с помощью какого-то известкового состава. Это был последний букетик, заготовленный для государыни, по ее всегдашнему обыкновению, и поставленный перед нею в день ее кончины. Кровать, как нам говорили, с того дня осталась нетронутою. На этой самой простыне государыня умерла. Спертый воздух стоял в этом нежилом, заброшенном углу дворца. Память о бабушке теперешнего молодого императора, казалось, уже ни для кого не представлялась особенно интересною. Я вспоминал эту высокую, стройную государыню, с худощавым изящным лицом и туманными глазами, вспоминал ее портреты в молодости с жемчугами на тонкой шее, с очаровательными покатыми плечами и породистыми, словно выточенными руками – я еще видел пред собою ее морщинистое, совсем высохшее в последние годы лицо, окаймленное сложною прическою из мелких буколек, и чувствовал, что в этой пустой комнате все ее прежнее величие для меня совершенно исчезает. Ни лейб-казак на запятках ее кареты, ни церемониалы, сопровождавшие всю ее жизнь, ни ее портреты в короне и порфире не могли теперь разуверить меня в том, что это была самая обыкновенная женщина.

Между тем перед нами продолжали чередоваться различные залы Зимнего дворца. Это был не дом, а самый обширный в России храм, воздвигнутый человеку, – с его престолом и со «священными изображениями» божественного семейства. В одном из громадных коридоров мы натолкнулись на бесконечный ряд драгоценных обстановочных вещей, сложенных на полу: вазы, люстры, канделябры и т. п. были расположены на паркете в две линии. Все это было собрано из разных дворцов для того, чтобы Николай II с своей женой выбрали из этой массы то, что им понравится. В то время заново отделывалась часть дворца для молодых супругов. Тут же, в коридоре, лежали целые штуки плюшевых ковровых материй для обивки полов. Вокруг нас

суетились рабочие. Рассматривая все эти вещи, я на что-то наткнулся и в то же мгновенье камер-лакей поспешил с тревогою предостеречь меня: «Будьте, барин, осторожнее… нельзя наступать на трон». Я обернулся и увидел на полу, вблизи моего сапога, часть разобранных дощатых ступеней, над которыми трудился какой-то обойщик, натягивая на них новое сукно. Я невольно удивился такому богопочитанию! И все-таки я сознавал, что если бы я был царем, то, внутри себя, я считал бы, что все это богопочитание относится не ко мне, а к чему-то вне меня, – к России, к нашей русской жизни… И, конечно, каждый император, с таким же точно чувством, проезжает мимо любопытной и кричащей толпы, мимо флагов и ковров на домах, мимо своих бюстов на окнах магазинов и мимо всех волшебных огней иллюминации с его вензелями.

В маленьком виде испытывал то же самое и я, спускаясь с моей сестрой среди толпы по лестнице Харьковской Думы после моей лекции. Вся эта суета возле шуб и щебетание молодых голосов – все это была недоступная мне, чужая жизнь – и ничего более…

Из Харькова я возвратился домой почти перед рождественскими праздниками. Эти зимние праздники обыкновенно вызывают во мне молчаливую и покорную тоску. Среди них проходят день моего рождения и день Нового года – два зловещих столба, мимо которых я стараюсь пробираться, зажмурив глаза. На этот раз Новый год начался незаметно и гладко. Все продолжалось по-старому, что я уже считаю верхом благополучия. Но в марте я простудился, и мои давнишние невралгические боли ожесточились с угнетающим упорством. Врачи посоветовали мне брать покамест электрические ванны в Еленинской больнице, а затем непременно отдохнуть летом на каком-нибудь прохладном морском берегу, например, возле Риги. Но чужие болезни никому не интересны…

Страннее всего было то, что с своим болящим телом я мог – и притом должен был – ходить, выезжать, работать. Мне предстояла поездка в Царицын. Я взял на себя защиту молодого судебного следователя, который выстрелил в старого товарища прокурора, вовлекшего его неопытную, почти не знавшую людей жену в какие-то развратные, похотливые отношения во время продолжительного отсутствия мужа. Заседание было назначено на 3 мая. Ванны несколько поправили мое общее состояние, но боль сосредоточилась в горле. Малейшее движение воздуха усиливало эту боль, а весна вышла ветреная и холодная, – даже мало похожая на весну. Но я собрался в Царицын и рассчитывал, что на обратном пути мне удастся посмотреть на коронационные

торжества в Москве, так как въезд царя в Москву был объявлен на 9 мая, а коронация на 14-е.

Чуть ли не с осени минувшего года начались заманчивые возвещения в газетах о предстоящей церемонии. С середины зимы в объявлениях целые столбцы начинались с крупных слов: «На коронацию»; все московские домовладельцы предлагали внаймы свои помещения. Интерес к зрелищу возрастал по мере того, как столько народу жадно стремилось в Москву. Об остановке в гостинице нечего было и думать. Казалось, что, пожалуй, не найдешь ни одного свободного уголка. Но мне все-таки удалось обеспечить себе приют в квартирке одного молодого одинокого адвоката на Арбате. Его чистенькое помещение состояло из гостиной, кабинета, столовой, спальни и особой комнатки прямо из передней, которая была предоставлена мне. Вся мебель и вещи были новые, аккуратные, удобные. Хозяйством заведовала горничная Ариша, лет сорока, высокая брюнетка с услужливыми манерами, певучим говором и с видом попечительницы над молодым барином. Проездом в Царицын я провел сутки в этой квартирке и успел с нею освоиться. Мельком взглянул я на воздвигавшиеся во всех концах города деревянные украшения улиц, фонтанов, площадей и домов, на жерди с гербами, на полураскрашенные пирамиды, на декоративные стены – и затем, как только отъехал от Рязанского вокзала, погрузился в заботы о моем деловом путешествии. Горло болело невыносимо. За окнами вагона стояла стужа.

В середине следующего дня мы проезжали по «Земле Войска Донского». Я никогда раньше не бывал в этих местах и невольно вспомнил географическую карту, по которой учился, с печатным названием этой области, обведенной розовой краской вблизи червеобразного Каспийского моря. Сквозь окна были видны разливы рек. Целые леса, еще голые, купались в мутно-желтых, холодных волнах. Но эти картины при хмуром небе не давали представления о весне. С высокой насыпи, по которой мы неслись, грязная вода, бурлившая вокруг сухих деревьев, казалась мне простою неопрятностью природы в ненастное время. Неужели я перестал чувствовать прелесть разлива!

В нашем вагоне было всего два пассажира: крепкий высокий старик лет за шестьдесят, со стриженой головой и длинной бородой, в тужурке и сапогах бутылками, и бледный, но тоже высокий офицер в казацкой форме. Старик был очень бодр и выбегал гулять по платформе почти на всех станциях в одной тужурке, оставляя меховой архалук на своем диване. А офицер оставался все время на месте, большею частью лежа или полусидя и подпирая рукою свою усталую голову. Я узнал, что он

несколько раз падал с лошади на учениях и настолько разбил себе грудь, что теперь едет на родину, как почти негодный. Итак, я видел пред собою старость и молодость: нечего было жаловаться на судьбу!

Дорога была скучная. А мне предстояло проделать ее еще и на обратном пути! Только к часу ночи я попал в Царицын. Меня встретил подсудимый. Гостиница находилась очень близко от вокзала. Мне был приготовлен просторный номер с перегородкою для спальни, и я, совсем усталый, поторопился улечься в постель.

Следующий день (воскресенье) был совершенно ясный и почти жаркий. Перед моими окнами расстилалась громадная зеленая площадь, окаймленная невысокими каменными строениями. На правом углу стояло двухэтажное кирпичное здание Земской управы, где, как мне объяснили, должно было происходить судебное заседание. Я вышел с своим клиентом, чтобы побриться, а затем купить на завтрак зернистой икры. У парикмахера мы застали двух наших свидетелей, только что приехавших из Астрахани к завтрашнему заседанию. Это были друзья подсудимого – городской полицейский врач и советник губернского правления, оба – веселые и цветущие люди, хотя первый приближался к пятидесяти годам, а второй имел полные шестьдесят. Врач, коренастый мужчина с седеющими пышными бакенбардами, стриженой, почти лысой головой, серыми глазами и красненьким носом, говорил очень быстро, негромким, смеющимся голосом и имел вид провинциального бонвивана, доброго и надежного товарища во всякой пирушке и всякой беде. Советник Губернского правления, из разорившихся помещиков, смотрел настоящим барином. Высокий, плечистый, упитанный, с темными живописными глазами, правильным носом, с русской прической каштановых волос без седины, с круглой бородой и густыми усами, – он казался мужчиною «в самом соку». Впрочем, только усы у него были несколько светлее бороды, да еще при разговоре слышался недостаток зубов. Я обменялся несколькими фразами с этими господами и отложил ближайшее знакомство с ними до обеда.

Позавтракав у себя в номере зернистою икрою, которая была немного дешевле, но не лучше петербургской, я еще раз прилег отдохнуть и, когда встал, то решил в ожидании обеда погулять. Недалеко от гостиницы, если взять по площади направо, оказалась широкая и длинная улица с бульваром. Вход на бульвар, как всегда в провинции, был загражден вертящимся деревянным крестом. Желтая земля горбом возвышалась посредине аллеи и была вся испещрена просохшими следами ног. Солнце минутами грело совсем по-летнему, но довольно сильный

ветер то и дело откуда-то срывался и нагонял холодок. Нега весны уже млела в воздухе. Кое-где показавшиеся прохожие гуляли без верхних одежд. Все они ходили одиночками и переступали медленно, занимаясь, по-видимому, созерцанием природы и вдыханием воздуха. Иные присаживались на скамейки, другие мечтали на ходу, намеренно задерживая свои шаги. Мне встречались только простые люди: мещане или мелкие чиновники. Я сел на скамейку и подставил свое лицо веселому, сильному солнцу. Бульвар был почти пуст. Если попадалась новая людская фигура, я ее прослеживал, пока она не исчезала. Между тем время приблизилось к обеду. Я встал и тотчас же завидел издалека тоненькую, как будто изящную женщину, шедшую мне навстречу. Приближаясь к ней, я различил черное шелковое платье со шлейфом. Вокруг шеи был вырез с белыми кружевами. Над головой колебался нарядный зонтик. Из-под него на меня взглянуло тощее молоденькое лицо с черными выразительными глазами, и когда мы поравнялись, меня обдало запахом пудры. Запыленный шлейф прошумел угловатыми взмахами от порывистой, нервной походки. Это была актриса! Нечего было и сомневаться. Вероятно, – хрупкий сосуд страсти… Но какою музою она мне показалась в этом тупом Царицыне!

Обед был назначен на вокзале железной дороги, в зале первого класса. Выбран был самый глухой час, когда зала совершенно пуста. Для нас накрыли круглый стол возле одного из широких окон. Здесь я встретил моего клиента с его молоденькой женой, советника с его старою супругою, привезенною из Астрахани, и доктора. Супруга советника была высокая и довольно тонкая седая дама с институтскими манерами, улыбающаяся и говорящая с небрежной грацией. Жена подсудимого, из-за которой и возгорелось дело, все время молчала. Это была низенькая женщина с темно-русыми волосами, остриженными в скобку, и продолговатыми синими глазами. Круглая черная шляпка совсем закрывала ее низкий лоб. Кожа лица и шеи была у нее необыкновенно нежная. Она имела пришибленный, виноватый вид. Если и улыбалась, то безучастно, из приличия. Но когда на нее не обращали внимания, она чуть приметно, как бы про себя, вздыхала. Обедом распоряжался доктор. Благодаря его совещаниям с поваром и буфетчиком, мы имели прекрасную стерлядь и довольно сносное вино. Беседовали непринужденно, как будто никому из присутствующих никакой беды не угрожало. О предстоящем процессе упоминали вскользь, как о забавном поводе, соединявшим нас за этим столом, – не более. А между тем завтра – суд…

Из вокзала я вышел вдвоем с доктором. Простившись с

остальными, мы отправились на бульвар. Нежный свет предвечернего весеннего воздуха был очарователен. Ветер стих и на синем небе кое-где рисовались курчавые длинные облака. В палисаднике, через который мы проходили, на одном голом кусте акации, я увидел только что развернувшиеся листочки, еще наполовину сплюснутые, – яркие, как бархат, и тонкие, как зеленый батист… Необъяснимая радость шевельнулась во мне. Мне припомнились мои стихи: «И я жду – сердце бьется в груди – тайной радости жду впереди».

А что впереди?

Казалось, что в такой вечер во что бы то ни стало необходимо было каждому быть молодым и блаженным. Казалось, что сердце, оставшееся одиноким после стольких увлечений и привязанностей, теперь снова, не ведая никакого прошедшего, становилось девственным. Оно билось чуть слышною тревогою и безгранично верило, что где-то вблизи и вокруг непременно должно найтись другое сердце, которое с такою же тревогою бьется именно из-за него и только не умеет с ним встретиться. И вместе с тем являлось неопровержимое убеждение, что не успеет еще погаснуть эта заря, как вы войдете в комнату своей невесты, которая уже теперь, думая об одном вас, – вся, с головы до ног, молодость, прелесть, ум и любовь, – с загадочной улыбкой на лице радуется лишь тому, что вы еще хоть на минуту могли сомневаться в близости этого блаженства…

Я начал невольно что-то высказывать доктору об очарованиях весны, и он мне весело вторил. Он заговорил о себе, о своей холостой свободе и, между прочим, рассказал, что прежде он служил в этом самом Царицыне и что в его время здесь водились настоящие красавицы ради прихоти волжского купечества. Он добавил, что поклоняется здоровой, радостной жизни и во всем боготворит энергию природы. Его румяное лицо, крепкие зубы, широкая грудь и смеющиеся серые глазки, его негромкая, но поспешная и живая речь обличали в нем доброго, умного и ясного человека – одинокого философа-оптимиста, окрепшего среди всяких изнанок жизни, какие только могут быть доступны чуткому полицейскому врачу в провинции.

Мы пришли на бульвар. Он был переполнен воскресною публикою. В аллее теснился самый пестрый народ. Почти все гуляющие двигались группами в несколько человек или парами: две дамы посредине и два кавалера по краям, или муж с женою, или два приятеля и т. д. Нам попадались и мужичьи шапки, и картузы, и цилиндры, и дамские шляпки с перьями, и простые барашковые шапочки на гимназистках. Иногда встречались подростки с двумя косами поверх кофточки. Возле них шагали

юноши на краю аллеи, заложив руки в карманы, робкие и задумчивые, с опущенными головами, или, наоборот, заносчивые и поучающие. Все это гудело, шушукалось и топталось. Мы промаршировали среди этой толпы до десяти раз взад и вперед, обмениваясь замечаниями и шутками. Наступали нежные сумерки. Но воздух похолодел. Все лица разрумянились. Некоторые дамы плотнее подвязали косынки и шарфы. И все-таки публика редела очень медленно. Но нам уже пора было уходить.

Конечно, никакой романической встречи, о которой так явственно говорили и воздух и небеса, у меня не случилось. Мы отправились в гостиницу, где я узнал, что из Петербурга сейчас приехал брат подсудимого, молодой врач, чтобы находиться при брате на случай беды. Я вспомнил, что на мне лежит ответственность за эту беду…

Утром следующего дня погода испортилась. Небо нахмурилось и было свежо. Вся наша компания двинулась через площадь в суд. В зале Управы, где должно было происходить заседание, особенно выделялся громадный портрет нового императора. Этот небольшой юноша был изображен чуть не великаном среди неопределенного голубого воздуха, в длинных гусарских сапогах, попирающих гладкую почву из желтоватых, четвероугольных камней. В нижнем углу портрета живописец положил на каменистой почве, ради красоты, довольно густую тень и, благодаря этому казалось, будто царь безмятежно остановился над бездной. Но как бы там ни было, я прекрасно знал, что в конце концов жизнь подсудимого вполне зависела от этого юноши.

День прошел в допросе свидетелей. Пострадавший товарищ прокурора, как и предвиделось, не явился. Тотчас же после своей истории он был разжалован в судебные следователи и переведен в далекую губернию, откуда мог не являться в заседание по закону. Остальные свидетели разъяснили дело именно так, как я предвидел. Жена подсудимого допрашивалась при закрытых дверях. Я удивлялся, какою ужасающею выносливостью обладала эта маленькая женщина, отвечавшая тихими короткими фразами. Она только задумывалась на несколько секунд прежде, чем дать ответ, но затем произносила его весьма точно, хотя без малейших признаков чувства на лице и в голосе. Ее поза ни на минуту не изменилась – слабый и как бы мертвый звук речи – ни разу не обнаружил нервности. Лишь иногда, перед ответами на самые мучительные вопросы, она чуточку заикалась, поспешно моргала, но затем произносила те же ясные, словно безжизненные слова. Между тем она теперь страшно любила мужа и была беременна от него на седьмом месяце! После скандала муж дал ей эту

беременность как бы в наказание за ее порочность и с тех пор держал себя с нею, как посторонний – до исхода процесса… Судебное следствие закончилось около полуночи, и я попросил отложить прения на завтра.

На другой день я проснулся очень рано. Напился чаю, восстановил в своей памяти все дело и приготовился к речи, а между тем до открытия заседания еще оставалось полтора часа. Чтобы сократить время и не волноваться понапрасну под влиянием безделья, я сел за письмо к моему другу Зине Мережковской и в недоконченном виде положил его к себе в портфель. Погода была ясная. На площади, при ярком солнце, дул сильный ветер. На угловом балконе Управы теснилась кучка присяжных заседателей, вышедших подышать после ночи, проведенной в помещении Суда. Прогулявшись немного, я подошел к Управе за несколько минут до открытия заседания.

Началась речь прокурора. Она была длинная и, что всего опаснее в провинции, – вполне казенная. С первых же слов я вынул из портфеля недоконченное письмо и стал записывать в него свои впечатления от этой речи, чтобы не принимать ее всерьез и не разочаровываться в своих надеждах. Впоследствии оказалось, что этот мой прием сильно взволновал обвинителя, полагавшего, будто я, с каждым наклонением к бумаге, желал закрепить в своей памяти какую-нибудь несообразность в его доводах. Он старался бороться с этим призраком и потому говорил необыкновенно долго, с удивительною настойчивостью.

Благодаря моему занятию письмом, я встал с своего места по окончании этой речи, как будто ее совсем не было сказано. Все мои доводы казались мне свежими. И по мере того, как я видел, что выигрываю в мнении присяжных, я добродушно коснулся кое-каких мыслей, высказанных обвинителем.

Подсудимый был оправдан. После такого исхода критиковать меня не было никакой возможности. Все было найдено уместным и прекрасным в моей речи. Заседание окончилось в час дня, и я поспешил в свой номер, чтобы отдохнуть после этих тревожных суток, оторвавших меня от всего окружающего.

Проснулся я с особенно легким чувством, я знал, что мне предстоят только приятные впечатления. Вся моя комната была озарена высоким солнцем сверху донизу. На подоконнике жестянка с остатками икры совсем накалилась, оберточная бумага, разбросанная по номеру, вещи – все грелось в совсем летних лучах. Портфель с документами дела, лежавший на столе возле чернильницы, теперь казался мне вещью, до смешного утратившею надо мною всякую власть, как пустой пузырек от лекарства после тяжкой болезни, или как после экзамена –

профессорские записки, в которые никогда в жизни больше не заглянешь. Я узнал, что во время моего отдыха мои деловые знакомцы весело позавтракали. Поэтому мне предстоял еще целый свободный день в Царицыне. Обедать мы устроились на вокзале, но был всего третий час, и я захотел прокатиться по городу в обществе счастливого и разрумянившегося астраханского доктора.

Город разделен на две части рекою Царицею; за рекою находится более возвышенная часть и туда постепенно подвигаются все новые постройки. Мы катились по немощеным улицам, широким и правильным, но почти деревенским. Кое-где мелькали двухэтажные каменные дома. Редкие садики едва-едва зеленели. Доктор изливал передо мною свое добродушие. Он хвалил всех. С особенным жаром он говорил о своей дружбе с «советником», которого называл превосходнейшим, редким человеком. Между прочим, оказалось, что грациозная и улыбающаяся советница давно уже перестала быть женою этого видного барина и что у него уже несколько лет длится связь с молоденькою купеческою сиротою. К ней он ездит ежедневно – привык и привязался, как к жене. Девочка держит себя вполне порядочно, но сам советник еще настолько молодец, что никогда не отказывается от холостой компании. И снова доктор настаивал, что это человек редкого душевного благородства. Так же сочувственно говорил он о моем клиенте и радовался, что теперь у них с женою непременно все наладится.

После катанья я занялся укладкою вещей и как только ее окончил, за мною пришел брат подсудимого, молодой женский доктор из Петербурга, высокий и тонкий брюнет с мягкой бородкою, в серой летней паре. Он в сдержанных, но искренних выражениях дал мне почувствовать, от какой великой беды был спасен его брат и как это порадует их старого отца!.. Мы отправились обедать… По дороге к вокзалу я встретил на пустой площади виденную мною два дня тому назад актрису. Она ехала на извозчике с бритым юношей, державшим ее за талию. На ней была желтая шляпка; шлейф того же самого черного платья кое-как укладывался на пролетке; ее темные выразительные глаза, как и прежде, блуждали в пространстве; ее худенькая фигурка, обхваченная рукавом песочного мужского пальто, казалось, случайно находилась в этих объятиях и никому, в сущности, не принадлежала.

Обед прошел в общем примирении и сдержанной радости. Советница так же мило улыбалась. Советник и его друг солидно покровительствовали наступившему довольству. Но всем нам казалось, что оправдан не подсудимый, а его жена, обвинявшаяся

в том, что из-за нее должен был погибнуть ее муж. И так как этого не случилось, то теперь мучительная ответственность навсегда была снята с ее совести. Она оставалась молчаливою, но в ее чертах было спокойное счастье. Подсудимый, с утомленными и несколько пьяными глазами, еще переживал только что совершившийся кризис, который выводил его из драмы, длившейся почти два года. Мы заобедались до вечера. С вокзала дамы пошли к себе в гостиницу, а все мы, мужчины, поехали в увеселительный сад на берегу Царицы, под названием «Чикаго», в честь американской выставки того года. Этот сад, как и следовало ожидать, судя по тому, что до лета еще было далеко, – сохранял свою зимнюю обстановку. Прямо из ворот мы вступили в крытый зал, невысокий, но довольно длинный, с земляным полом. Стены были закрыты елками и комнатными растениями. В зелени стояли скамейки и столики, покрытые скатертями. Ламповая люстра и свечи в колпаках давали тусклое освещение. Двери были настежь открыты в сад, и резкий холод чувствовался в воздухе. Откуда-то снаружи слышался оркестр. Несколько невзрачных мужчин сидело за столиками. По земляному полу бродили «девицы» в дешевых, но ярких платьях со шлейфами, большею частью старые, неимоверно раскрашенные. Иные присаживались к одиноким кавалерам, сидевшим в пальто и фуражках за столиками с бутылкою пива. Видно было, что здесь все давно между собою знакомы и надоели друг другу. Мы спросили себе какого-то вина. Советник с доктором осматривали женщин, как люди на все готовые, но только не встречающие подходящего экземпляра. Подсудимый и его брат держали себя скромно, с приятною, затихающею грустью. Наискосок от нас, за длинным столом, сгруппировались «хористки», не желавшие никому навязываться или еще не встретившие своих кавалеров. Среди них, на углу стола, сидела тонкая, совсем молоденькая хохлушка, – чернобровая блондинка с длинною косою, в вышитой рубашке, с голыми руками. Ее красивые пальцы с блестящими ногтями совсем пошорхли и покраснели от холода. Голос у нее был сиплый, по-видимому, с перепоя, потому что она выделялась резкою бойкостью. Ее чудные глаза были как-то искусственно и в то же время нахально веселы. Своими хриплыми выкриками она покрывала других и все время ерзала на месте, то пригибая к столу худощавую спинку, то поворачивая голову в разные стороны. Ей, конечно, не было соперниц, но зато без водки она, очевидно, никуда не годилась.

Окончив нашу бутылку и найдя сад скучным, мы уехали. Я лег не раздеваясь. На рассвете, в пять часов утра, мы отправились с доктором на вокзал, так как и он собирался в Москву. Нас

проводил подсудимый. Утро было холодное, но такое юное, что я вообразил себя мальчиком. Казалось, что у меня есть взрослые «папа» и «мама» и что даже гимназия для меня еще впереди: с такою силою возвращал в мою душу чувство детства один только вид этого весеннего рассвета.

II

7-го мая, когда мы приехали в Москву, был дождь, холод и ветер. На Рязанском вокзале теснилась и толкалась необычайная, угорелая публика. Преобладали форменные одежды. Доктор, простившись со мною, весело юркнул в эту толпу с своим чемоданчиком. Пробираясь к выходу, он исчез за громадною спиною какого-то военного сановника – должно быть, отставного генерал-губернатора. Дождь хлестал с такою силою, что необходимо было сесть в крытого извозчика. Жмурясь от встречных водяных струй, я проехал на Арбат под смутным впечатлением чудовищной пестроты и грохота, окружавших меня отовсюду за пределами моей крытой пролетки.

Добравшись до квартиры моего молодого товарища, я основался в ней на целую неделю и наблюдал из нее коронационные торжества.

Чтобы понять мое настроение, нужно начать издалека. В детские годы коронация представлялась мне самым удивительным зрелищем, какое только возможно на земле. На продолговатых картонных страницах «Художественного листка» я видел воспроизведение всей коронации Александра II. Эти чудные рисунки были как бы выведены по желтоватому фону тонким карандашом и белою краскою. Лошади в страусовых перьях, золотые кареты, гофмаршалы и церемонимейстеры с жезлами, великие княгини и придворные дамы в кокошниках и вуалях, императорские регалии, тронные кресла и самый обряд венчания на царство, когда государь, в короне и порфире, возлагает корону на коленопреклоненную государыню – все это развертывалось предо мною, как целая вереница волшебных картин. И мне воображалось какое-то неповторяемое в жизни торжество, происходящее среди солнца, золота и бриллиантов.

В то время железных дорог не было, и я думал, что мне никогда не доведется добраться до Москвы. Но я знал ее по картинкам и любил по истории. Стены Кремля с его башнями, темный Василий Блаженный с его татарскими чалмами и белый Успенский собор с узенькими, точно слепыми окнами – давно уже сделались мне близкими. На этом историческом холме помещалось для меня все картинное прошлое России. Там чередовались бородатые цари в остроконечных золотых шапках, осыпанных драгоценными камнями и отороченных соболями. Я воображал себе этих царей среди сводчатых теремов, расписанных церковною живописью, – на пирах, в кругу бояр, за столами с вычурными блюдами и богатою утварью, – в

торжественных шествиях, при колокольном звоне и развевающихся хоругвях. Зубчатые стены монастырей, башни, колокольни, парчовые одежды, тяжкие лампады на длинных цепях… Иван Грозный, Москва-река, опричники… Годунов и Ксения… Пушкин. Учебник Ишимовой с его ясным шрифтом и утренний свет классной комнаты – все это вместе соединилось для меня в одно милое представление о достоверных и красивых, но уже невозвратных картинах русской старины. И вот я видел, что в тот же Кремль должен был приехать для коронования самый последний царь, Александр II, хотя он уже был в военном мундире. Этим как бы доказывалось, что прошлое не исчезло и что этот военный генерал есть потомок тех же самых, давнишних, почти сказочных царей. И мое детское сердце верило в святость «дома Романовых», спасенного для России подвигом Ивана Сусанина… Обожание к царю, еще и доныне существующее в известной публике и в народе, – это обожание, о котором так верно повествует Лев Толстой в «Войне и мире» от имени молодых Ростовых, – довольно упорно держалось в толпе почти во все царствование Александра II. Крики «ура» сопровождали решительно каждый парадный выезд этого государя и его жены. По крикам толпы всегда можно было знать, откуда и куда следуют их экипажи. К концу царствования Александра II крики народа становились как-то жиже и принужденнее, но все-таки еще не прекращались. После же низвержения государя посредством убийства, давнишний обычай исчез сам собою, с первых же дней вступления на престол нового государя, так как уличная публика, из которой вышли многочисленные цареубийцы предыдущих лет, сразу почувствовала невозможность и неуместность посылать свои восторги преемнику убитого царя.

Со времен Александра III «ура», при каждом царском выезде, положительно исчезло. Оно осталось обязательным только среди войск. Народ же с тех пор кричал «ура» только в самых исключительных случаях.

Я видел Александра III почти каждый день в летние месяцы 1881 и 1882 годов в Петергофе, где мы жили на даче. Он выезжал из Александрии в Петергоф и его парки, неизменно в одном и том же многоместном шарабане, в который он забирал с собою всю свою семью – жену и двух сыновей, да еще кого-нибудь из родных или придворных. Проезжая мимо церквей, государь и государыня набожно крестились. Было ясно, что они побаивались и не расставались, чтобы на случай беды погибнуть вместе. Повсюду конные конвойцы торчали в парках, на перекрестках аллей. Государь в том же шарабане приезжал по вечерам на музыку в Монплезир, а по воскресеньям на скаковой плац, в царский

павильон. Живо помню, как, облокотившись на боковую решетку этого павильона, два мальчика в белых матросских костюмах, Николай и Георгий, стоя рядышком, плечо к плечу, перевешивались с балкона и смотрели вниз. У Николая были вьющиеся волосы, падавшие до плеч, и пухлый носик, в который он иногда засовывал пальцы, засмотревшись на что-нибудь внизу, в удобной позе, с локтями на перилах и приподнятыми детскими плечиками. Впоследствии он незаметно превратился в маленького офицера. Его волосы были острижены и спускались мысиком на середину лба; продолговатое лицо окаймилось темным пухом; под тонким и вздернутым носом обозначались усы; глаза, с правильными черными бровями, напоминали материнские, хотя и были голубого цвета, как у отца. Еще через несколько лет он сделался взрослым юношей и стал выезжать один, в узеньких санках, или эгоистке, чистенький, миниатюрный и хорошенький, всегда в красной гусарской фуражке, которая очень к нему шла. Личность его как наследника престола не возбуждала ничьих надежд. Общество оставалось равнодушным к его кругосветному путешествию и даже не особенно встревожилось известием о покушении на его жизнь в Японии. Затем связь его с балериною Кшесинскою объяснялась не более, как обыкновенною потребностью молодого гвардейца. Впрочем, в этой связи, условия которой были, так сказать, заранее приняты обеими сторонами, – Николай держал себя очень мило: он оставался верен Кшесинской; они обращались друг к другу на «ты», обменивались уменьшительными именами, переписывались без всякого стеснения и т. д. При этом однако поговаривали, что наследник любит выпить. От одного моего приятеля, хорошо знакомого с Кшесинскою, я слышал, что в каждый приезд Николая, в особенности с его друзьями, она должна была заготовлять дорогое вино, что выходило для нее довольно чувствительно, так как она получала от Николая по тысяче рублей в месяц. Но наследник не имел никакого понятия о цене денег, а у нее не поворачивался язык коснуться этого вопроса. Трудно сказать, страдал ли Николай, когда Александр III решил порвать эту связь и женить его на Алисе Гессенской. Как бы там ни было, Николай, в сравнении с упрямою и крепкою фигурою своего отца, казался школьником. Помолвка была объявлена. Послушный Николай загостился в Дармштадте и вскоре получились в России его фотографии вдвоем с невестою. На этих фотографиях жених и невеста держались довольно чопорно, как-то поодаль, но дело уже было решено бесповоротно. Месяца через два, когда наследник возвратился в Россию, мне говорили в Главном управлении почт, что между помолвленными идет самая

кипучая переписка и что наследник постоянно, с нетерпением, требует писем из Дармштадта. Затем наступила неожиданная болезнь Александра III и его продолжительная агония в Ливадии. Насчет Ливадии я имел два очень характерных сведения. Одна моя родственница, знавшая кое-что о жизни двора через генерала Черевина, рассказывала, что Николай и наследник греческого престола Георг (спасший ему жизнь в Японии), во время болезни Александра III лазили по деревьям, как обезьяны, объедались яблоками, хохотали и казались совершенно равнодушными к надвигавшейся беде. Академик Кондаков, давно уже поселившийся в Ялте, сообщал мне, что в те же трагические дни Николай, нисколько не стесняясь, кутил с товарищами и что будто бы сквозь открытые окна одной гостиницы прохожие слышали его пьяные крики: «Не хочу царствовать!!» Насколько все это верно – не знаю, но ни одного из этих свидетелей не могу заподозрить ни в легковерии, ни в недобросовестности. Возможно, все это было действительно так: Николай мог резвиться с Георгом, как юноша, еще не веривший в близкую опасность; он мог совершенно искренно кричать: «Не хочу царствовать», сознавая непосильную тяжесть правления. Но затем предсмертные наставления страдающего отца, очевидно, потрясли его. Натура послушная, в существе добрая, приспособляющаяся к противоречиям жизни, Николай, как говорится, «прочухался» и, плача над трупом отца, принял на себя его наследие, решившись сдержать обет, взятый с него умирающим, насколько Бог ему поможет. В таком именно виде рисуется мне эта смена двух царствований.

В начале каждого царствования всегда бывает такой краткий промежуток, когда еще все видят в новом государе только человека, не чувствуя между ним и собою никаких преград. Удивительно, что ни один государь не успевал воспользоваться этими чудесными днями, не успевал еще отдаться своему непосредственному чувству, – как его уже охватывало отовсюду плотное кольцо министров с их докладами, рассчитанными на то, чтобы почтительно расхитить его самодержавие для себя. Так было и с Николаем II.

После удушливого правления Александра III с надеждою и любовью остановились на его молодом сыне. Сам Николай, казалось, желал идти навстречу этой любви. Он выразил неудовольствие, что на похоронах отца из-за войск и полиции совсем не мог видеть народа. Намерение молодого государя сделаться простым и доступным вызвало общий восторг. Говорили о его приказе вовсе отменить «охрану», и все ликовали, но в те же дни откуда-то уже послышался ехидный каламбур «ох!

рано»… В день свадьбы, возвращаясь с женой после венчанья из Зимнего дворца, Николай устранил всякую военную и полицейскую стражу на своем пути, и нечего говорить, как обрадовался этому народ! Во все последующие дни каждое появление императорской четы вызывало неистовое «ура!»

В бракосочетании Николая была какая-то жестокая поэзия. Свадьба происходила под беспросветными небесами тогдашней осени, почти тотчас после погребения, среди глубокого придворного траура, прерванного всего на один день. Сколько странной прелести было в этих поцелуях новобрачных, на которые их так торопливо благословила и безутешная вдовствующая императрица и, казалось, еще погруженная в слезы страна!

Молодые супруги проводили медовый месяц в Царском.

В это первое время Николай, весьма понятно, всячески устранялся от докладов. Он откровенно говорил министрам, что царствование застигло его врасплох и что ему еще нужно во многом подготовиться. Будто по инстинкту, он направлял все первые неотложные вопросы в Комитет министров, т. е. совещательное присутствие опытных государственных людей, не желая принимать на свою совесть никакой ответственности за их решение. И я думал: сколько нужно действительного бесстыдства, чтобы отбирать от этого молодого офицера его божественное «быть по сему» по всем головоломнейшим делам государственного управления… Какими глазами должны были смотреть в его полудетское лицо все эти сановники, состарившиеся в непроходимых каверзах своих отдельных ведомств! Как они не краснели за себя, зная, что он совершенно безоружен перед их тарабарщиной, что он свеженький гвардеец, безумно избалованный судьбою, – и ничего более!

Промежуток свободного взаимного доверия между новым царем и его народом обыкновенно не бывает продолжительным. Общество торопилось воспользоваться каждым днем, пока это взаимное доверие предполагалось само собою и невольно чувствовалось. Замышлялись всевозможные петиции к государю, и впереди всех их выскочил знаменитый адрес Тверского земства. Тут-то все и погибло. Старо-монархическая партия присоветовала Николаю II непременно сразу дать резкий отпор всяким подобным замыслам будто бы подрывающим в корне самодержавие, только что восстановленное во всей его божественной силе его великим отцом. Мягкий и несамостоятельный Николай поддался этому совету. По правде сказать, трудно и винить его. В самом деле: ведь он видел всего несколько дней тому назад, что вся Россия почтила совершенно

беспримерными почестями его отца! Она так единодушно еще не оплакивала ни одного из своих самых великих монархов! Что же это значило? Мог ли он допустить, что все это была фальшь? Не проще ли было поверить тем, кто доказывал ему, что, значит, громадное большинство России в настоящую минуту не желает ничего иного, как твердого удержания всего того, что заведено Миротворцем. Как же после этого мог он отдаться своему непосредственному влечению? К тому же он боялся своей молодости, боялся какого-нибудь безрассудного решения… Пришлось прислушаться… И вот, на приеме влюбленных в него депутаций со всей России, с подносимыми к его стопам свадебными подарками, Николай II вдруг бросил им всем в лицо неестественно-оскорбительные слова о «бессмысленных мечтаниях»! Все разошлись в полном недоумении. И однако же все как-то затруднялись обвинить лично его. Все догадывались: «его научили другие… какая жалость!»… В тот же день, как разнеслась эта весть по Петербургу, я невольно вспомнил гоголевского Кочкарева, посоветовавшего Агафье Тихоновне разогнать ее женихов простыми словами: «Пошли вон, дураки!» Она возразила: «Как же можно так сказать? Ведь выйдет как-то бранно. – Да ведь вы их больше не увидите, так не все ли равно?..» Точно так же Николай II смелым, заученным с чужого голоса оскорблением разогнал приветствовавших его депутатов. И с тех пор мне подумалось, что он навсегда останется «вечным мальчиком».

Кажется, так и выйдет. Но зато, по крайней мере, за ним навсегда останутся и мягкость, и неиспорченное добродушие мальчика…

Надолго еще хватит рабства в России! Простой русский человек влюблен в царскую власть. Ему нравится даже иногда непонятная по отношению к его личным делам несправедливость царя. «Ведь вот как высоко стоит, – думает он, – все равно, как сам непостижимый Бог, веления которого тоже иногда кажутся несправедливыми простому смертному».

Да и самому царю мало помалу начинает нравиться его общепризнаваемая божественность. Поэтому, как только Николая II разъединили с народом, так тотчас же все пошло по заведенному порядку, и этот царь, подобно всем своим предшественникам, удалился в заоблачное пространство… Коронация должна была окончательно подтвердить божественность монарха.

Москва была переполнена. Все испытывали какое-то особенное возбуждение, сознавая себя избранными свидетелями или участниками всемирного сценического представления. Ничто

не напоминало будничной жизни. Все, что кипело на улицах, все это было нарядное, приезжее, нарочитое, временное и ликующее. Город перестал быть городом, а сделался сплошной декорацией. Казалось, многомиллионная саранча цветных лоскутков налетела на Москву и облепила все ее стены и здания. Древняя столица была загримирована праздничной отделкой до полной неузнаваемости. На площадях и перекрестках возникали фантастические раскрашенные постройки. Флаги, бившиеся по всем карнизам и качавшиеся на нитях, перекинутых через улицы, переносили веселую суету в самый воздух, поверх неугомонной толпы. Сады и бульвары были окутаны гирляндами круглых молочных фонариков. Отовсюду торчали столбы с коронами, жерди со штандартами, щиты и звезды для иллюминации. По всем улицам то и дело цокали подковы, без звука колес, потому что преобладающими экипажами были дорогие коляски на резиновых шинах, мелькавшие друг за другом во всевозможных направлениях. Почти в каждом квартале временно проживал какой-нибудь король или принц. Все государственные учреждения перекочевали в Москву: министерства, Государственный Совет, Сенат, балетная труппа, Академия художеств и т. д. Все эти «ведомства», навеки прикованные к Петербургу, теперь раскинулись здесь легким табором, в самых беспечных помещениях вроде меблированных комнат и гостиниц. Можно было издавать законы, решать и устраивать дела, разбираться в самых курьезных центральных управлениях, и все это делать здесь же, на ходу, без всякой необходимости путешествовать к далеким петербургским твердыням. Все это выходило как-то шумно, весело и забавно, и однако же, театральное величие ожидаемого торжества от этого нисколько не уменьшалось. Напротив, именно чувствовалось, как говорит Достоевский, «до чрезвычайности», что все, здесь происходящее, есть ничто иное, как волшебное сновидение, возможное только теперь и никогда более, ибо теперь должно совершиться самое радостное чудо, а потому и небеса настолько благосклонны, что они все это допускают ради настоящих исключительных дней, но ни под каким иным предлогом и ни за что на свете они бы не допустили этого во всякое иное время.

Государь уже находился под Москвою, в загородном Петровском дворце, и это его незримое пребывание у ворот столицы вносило приятное волнение в сердца праздничной толпы, заполнявшей все улицы. Молодая императорская чета прибыла 6 мая на Смоленский вокзал. У платформы был построен великолепный длинный павильон с богатыми драпировками, тропическими растениями, белою хрустальною люстрою,

бархатными коврами и золоченою мебелью. Государь, как мне передавали, был очень весел, несмотря на тучи, холод и дождь. Встреченный царскою фамилиею и придворными, он проехал с женою в карете прямо в Петровский дворец. В этом дворце русские государи проживают всего раз в жизни, когда проводят в нем несколько дней перед торжественным въездом в Москву для принятия царского венца. Благодаря этому, Петровский дворец, оживающий редко, делается в то же время вечным. Он подновляется с каждым новым царствованием. За высокой оградой с четырьмя башнями по углам, окрашенный в красную краску с белыми очертаниями каждого кирпичика, с белыми обводами вокруг готических окон и белыми же ломбардскими колоннами своих балконов, он молчаливо поднимает свой зеленый купол над деревьями парка и, кажется, знает, что каждый новый царь непременно прибегнет к его стенам, чтобы пережить в нем самую тревожную, самую радостную и хмельную молодость своей власти. В его комнатах каждый царь выжидает своего соединения с Москвою – с сердцем России – как с невестою.

Мне предстояло как-нибудь устроиться, чтобы видеть въезд. О билете на трибунах вдоль Тверской нечего было и думать: они были все давно раскуплены. Меня выручил один старый товарищ, успевший попасть в сановники. Он дал мне свою карточку для пропуска… в архив Губернского правления! Казалось бы, что это нечто безнадежное, но на деле вышло, что нельзя было бы выбрать во всей Москве лучшего места. Архив этот помещается не более, не менее, как над аркою Тверских ворот! Влево от часовни вы видите несколько маленьких окон над пролетом арки: это и есть архив Губернского правления.

Заручившись карточкой, я успокоился. Москва продолжала шуметь, не обращая внимания на холодную и сероватую погоду. Впрочем, накануне въезда, перед вечером, небо несколько расчистилось, и мы задумали с моим милым хозяином съездить к Петровскому дворцу. Сплошные, пестрые и нескончаемые украшения города, за которыми не успевал следить наш глаз, внезапно закончились позади Тверских ворот двумя громадными колоннами, увенчанными шапками Мономаха на золотых подушках. Вдоль каждой колонны, снизу доверху, спускался неподвижный национальный флаг: на одном был вензель государя, на другом – государыни. Вверху флагов выделялись крупные приветственные надписи. На этой черте государь должен был вступить в Москву. Здесь, у заставы, суетилась полиция. Вправо, по мягкой дороге в парк, допускались только придворные и привилегированные экипажи, а нам было указано ехать по среднему каменистому шоссе. В этот вечер во дворе Петровского

замка предстояла «серенада», т. е. приветствие императорской чете от хора русской оперы и разных певческих обществ, с аккомпанементом музыки. Всех исполнителей было до пятисот человек. В холодных майских сумерках сотни двухместных колясок быстро, мягко и правильно друг за дружкою исчезали за деревьями парка, унося с собою на этот праздник королей, принцев, князей, посланников, министров и т. д. с их дамами. Мы видели, впрочем, лишь темные стройные фигуры, по две в каждом экипаже. Замечательнее всего было то, что все эти экипажи летели с одинаковою скоростью, в одну линию, с естественными промежутками, не имея никакой надобности опережать друг друга, точно сама судьба заранее заготовила этим людям полное удобство, свободу и наслаждение. Мы же въехали в кучу разнокалиберных колясок и дрожек, двигавшихся плотною массою, с постоянными остановками, вдоль шоссе, по краям которого стоял простой народ. Толпа постепенно увеличивалась и превратилась в широкое море черных голов в том месте, где из-за деревьев парка завиднелись купол и башни Петровского дворца. Все экипажи наших спутников здесь остановились. Мы привстали на дрожках, как и вся прочая публика. Море голов простиралось, по-видимому, до задних стен дворца. Сдержанный говор стоял в этой тесной, обширной и благочинной толпе. Все было черно впереди, вплоть до величавой, задумчивой тени дворца. Но по ту сторону его стен, в глубине двора, стелилась ровная длинная полоса зажженных молочных фонариков. Эту иллюминацию делали пятьсот артистов, державшие каждый по фонарику на тонкой рогульке. Пение и музыка к нам не долетали. Быть может, впрочем, мы и не дождались начала концерта. Нас интересовало только добраться до того места, с которого всякому возможно было приблизиться к таинственному жилищу завтрашнего героя. И действительно стоило пережить это впечатление. При виде громадной, смирной и благоговейной толпы народа пред высокою тенью Петровского замка, позади которой зажглись веселые фонарики песенников, я невольно вообразил, будто молодой сказочный витязь, обожаемый целою страною, справляет здесь ночной пир накануне того, чтобы завладеть разукрашенною Москвою, ждущею его объятий, и затем сделаться земным богом России… Мы удовольствовались тем, что увидели, и приказали извозчику повернуть назад.

Засыпая в этот вечер в моей комнатке на Арбате, я думал: что теперь испытывает Николай II? Понимает ли он, какая великая, божественная роль предстоит ему на завтрашнем въезде? Шумит ли у него в голове, трепещет ли его сердце? Хватит ли у него души, чтобы ответить на все восторги, – чтобы отделить от себя

хотя бы частицу радостного сочувствия для каждой из тысячи сложных декораций, – чтобы послать счастливую улыбку или глубокое слово в различные павильоны тех депутатов, которые выйдут к нему навстречу, преисполненные влюбленного ожидания?.. Или же, наоборот: между настроением этого юноши и порывами этого бесчисленного народа нет, в сущности, ничего общего? Для них это – созерцание бога; для него – это привычный и хлопотливый обряд, вроде утверждения завещания или ввода во владение после заурядной смерти родственника… Скорее – думалось мне – здесь мерещится толпе нечто такое, чего на самом деле нет. Но как совладать с воображением?!

Утро 9 мая было светлое, но холодное. Нужно было выйти пораньше, чтобы пробраться сквозь цепь войск, расположенных впереди народа вдоль всей Тверской. Хотя было еще десять часов, но народ уже отовсюду приливал к линии въезда. Отбытие из Петровского дворца предполагалось около двух; поэтому войска еще держались вольно и пропускали пешеходов. В самом конце Тверской я протискался с тротуара на площадь перед Иверской и перебежал через это самое парадное место к другой толпе, оцепленной солдатами и полицией, влево от Иверских ворот, предполагая, что позади этой толпы, с угла стены, имеется вход к маленьким окошкам над воротами. Там действительно был вход, но он был заперт, и стоявший возле него сторож объяснил мне, что я должен возвратиться, пробраться к Иверским воротам, пройти под ними и там уже, с Красной площади, попасть на подъезд Губернского правления. Все это я проделал, но и подъезд, до которого я добрался, оказался загроможденным публикой. Здесь мне помогла рекомендательная карточка, и я попал в просторные сени Губернского правления. Поднявшись по лестнице, я прошел через пустые присутственные комнаты и вступил, наконец, в архив, где уже собрались зрители. Их было немного, но все большею частию элегантные люди, за исключением какого-нибудь десятка служащих и разночинцев. Дамы были в новых светлых платьях, как будто они явились на пасхальную заутреню или к причастию. Один генерал вошел в мундире с иголочки, так же, как и один гимназист – по-видимому, сынок местного чиновника. Ничей глаз, очевидно, не мог проверить и оценить такой благочестивой принаряженности среди нашей маленькой публики, отовсюду закрытой стенами незаметного, пустынного архива. И в этой личной потребности каждого зрителя привести себя в безукоризненный вид перед въездом государя сказывалась громадная, необъятная власть сегодняшнего героя над воображением всех слоев народа, всех неизвестных и невидимых ему единиц не только московской, но,

вероятно (в общей массе), – и всероссийской толпы.

Наш архив состоял из двух комнат, разделенных узеньким коридором; одна выходила двумя окнами на Тверскую, другая – двумя окнами на Красную площадь. Стены были покрыты деревянными клетками с чистенькими делами. Перед окнами стояло несколько рядов стульев. До въезда было еще далеко. И вначале я постоянно перебегал из одной комнаты в другую, но вскоре сообразил, что до полудня стоило смотреть только на Красную площадь, потому что по ней, из Кремля, направлялись в Петровский дворец все высокопоставленные лица. Площадь эта лежала передо мною своим длинным прямоугольником, окаймленная, вплоть до памятника Минина, правильною и бесчисленною толпою, которая вздымалась вокруг площади отлогими стенами на трибунах. Слева, над самой чертой народа, высоко развевались в воздухе два громадных желтых флага с черными орлами. Плотно усеянные трибуны пестрели дамскими туалетами, шляпками и зонтиками. Впереди линии войск кое-где гарцевали всадники. По временам какие-то генералы подъезжали к фронту на конях и распоряжались. После каждого нового генерала линии становились ровнее. Из Кремля начали выезжать великие князья в обыкновенных экипажах, но в параднейших формах. Наша публика с удовольствием узнавала и называла проезжающих. Все это катило в Петровский дворец к великолепному завтраку перед въездом. Одним из последних проехал Владимир Александрович, командовавший коронационными войсками. Он окликивал по сторонам: «Здорово, гренадеры!», «Здорово, семеновцы!» и получал в ответ быстрые, рявкающие виваты.

Светлое утро делалось все более и более солнечным. Толпа, мундиры и уличные украшения облились яркими лучами. Порядок и напряжение возрастали. Уже все участники торжества проехали вверх по Тверской. Безмолвные зрители нашего архива подкреплялись домашней провизией или тартинками, купленными у сторожей. Наступило самое томительное время, когда вся встреча была приготовлена, но никаких признаков въезда не замечалось. Расчищенный путь прискучил глазу, как пустой лист картона в тяжелой драгоценной раме. И такое состояние длилось чрезвычайно долго – часа два с лишком.

Вдруг где-то далеко ударила пушка – и вслед за тем загремели частые ответные выстрелы с Тайницкой башни. Одновременно во всех церквах загудел колокольный звон. Все мы шарахнулись к окнам на Тверскую. Войска подтянулись в последний раз. Народ закопошился в своей плотной массе. Наши окна внезапно раскрылись и к нам с удвоенною силою ворвались

грохот и гул, наполнившие воздух. Солнце блистало над несметным пестрым народом. Ожидание сделалось веселым, потому что пушки и колокола как бы заранее изображали собою надвигавшуюся процессию. С самого отдаленного верха Тверской начали доноситься к нам крики толпы, опережавшие едва слышную военную музыку. Поэтому каждый экипаж передовых полицейских чинов, летевших по пустой улице, первоначально принимался за открытие шествия. Между тем крики сверху делались все явственнее и сквозь пушечные выстрелы уже довольно громко звучали трубы. Наконец самый дальний край Тверской пересекся поперечным белым пятном. Это и было шествие. В следующую минуту нам показалось, будто целый лес золотых булавок движется среди улицы. По мере спуска эти булавки превращались в игрушечных всадников, затем в раззолоченную процессию детей и только перед самой лощиной Иверской площади вполне обозначали человеческие фигуры. Но где царь? Где царица? Что самое важное в этой волшебной реке? Пушки палили, колокола заливались полным хором, барабаны и трубы ликовали, толпа ревела – и все, что уже вполне приблизилось, – что уже отчасти уходило под Иверские ворота, – все это казалось одинаково великолепным.

Среди нас был молодой купец. Он изнемогал от волнения и восторга.

– Господи Боже мой! Да что же это такое. Ах ты, Господи, сила-то, сила какая!.. И разве тут же государь император?.. Кажется, и вынести невозможно, если его самого увидишь…

Действительно, вглядываясь в процессию, можно было заметить рассчитанное возрастание эффектов. Проехали жандармы, конвой, казаки. За ними – азиатские депутаты в зеленых, синих, лиловых, малиновых, желтых и красных халатах, с чапраками из парчи, в высоких шапках и чалмах. Эмир бухарский и Хан хивинский. Потом – родовитое дворянство. Вслед за дворянством придворные слуги и сановники: музыканты в красных казакинах с серебряными трубами, камер-лакеи, скороходы, арабы в белых чалмах, царская охота, камер-юнкеры и камергеры, залитые золотом, с белым плюмажем на шляпах, и, наконец, целая цепь золоченых фаэтонов и карет с обер-гофмаршалами, обер-церемониймейстерами, членами государственного совета и т. д. Весело было смотреть на это густое, пестрое, нарядное шествие. Все фигуры ярко блестели, как новые лакированные игрушки. Все это двигалось непрерывно, по чистой дороге, при блеске солнца, среди возрастающих кликов необозримого народа. Но вот, на подъеме Тверской, поднялся усиленный рев, и вдоль тротуаров полетели шапки в воздух.

Довольно отчетливо показался тоненький государь на белом коне. Он выдавался тем, что ехал один, имея позади себя целую толпу принцев. Он держался застенчиво и стройно, не отнимая руки в белой перчатке от своей черной смушковой шапочки, и только по временам чуть-чуть поворачивал корпус то в левую, то в правую сторону, чтобы отдать приветствие всей массе народа.

Завидев его, каждый из нас без всякой надобности немного вытянулся вперед, а купец закричал во все горло протяжное, оглушительное «ура!» и затем повторил его несколько раз.

Центр шествия вступил в лощину перед Иверской. Тогда государь свернул прямо по направлению к нам. Принцы на своих лошадях отступили к правой стороне площади, а Николай II, отделившись от них, подъехал к стене нашего архива и, повернув лошадь, остановился совершенно один внизу, под нашим окном, в ожидании императриц.

Глаза у купца чуть не выскакивали от напряженного рассматривания государя.

«Неужто вот это он самый и есть, его величество? Вот – этот вот?.. Ах ты, страсть какая!.. Совсем, совсем близко видно… Какой молодой, хорошенький… Вишь ты, сидит себе… Как это удивительно!.. Ура! Ура-а-а-а!..»

Между тем скромно сидевший на лошади Николай II загнул руку назад и, достав из кармана своего мундирчика батистовый платок, утер им свой вздернутый носик, пригладил усы в обе стороны и снова тем же движением спрятал платок в карман. В это время с Тверской спускались золотые кареты императриц, украшенные драгоценными камнями (самое великолепное, что было в зрелище); каждая карета была запряжена восемью белыми лошадьми, цугом, с белыми страусовыми перьями; придворные сановники стояли на приступках. Четыре лейб-казака, в пестрых костюмах и высоких шапках, сопровождали каждую карету пешком. На карете вдовствующей императрицы возвышалась корона; у молодой государыни еще не было этого божественного украшения: она только готовилась принять его, проходя через различные, долгие и сложные церемонии. Перед Иверской часовней кареты разъехались и остановились – одна по правую, другая по левую сторону помоста, покрытого алым сукном. Государь по-офицерски сошел с лошади. Императрицы в белых серебряных платьях с длинными шлейфами вышли из карет. Николай II взял их за руки, как в мазурке, когда делают фигуру qualité, и повел их вдоль помоста к иконе. Он переступал конфузливо, без всякого величия, с сыновнею нежностью к матери и с неловкою услужливостью перед женою, которая превышала его ростом. Но в эту минуту для всей массы – в особенности из

отдаления – не существовало никакой критики. Эти три лица были для нее святыней. Мне было, по правде сказать, несколько жутко за этих женщин, распускавших свои серебряные шлейфы на подмостках всемирной сцены. Старая государыня, казалось, глотала слезы, вспоминая своего мужа и свою коронацию; молодая мучительно смущалась; ее щеки пылали; синие глаза выражали нервное утомление; рыже-золотые волосы жесткими завитками ниспадали на лоб ее растерянного лица. После коленопреклонения перед иконой (которого мы не видели), государь возвратился к своей лошади и поехал под Иверские ворота продолжать прерванную церемонию, а вслед за ним – пока императрицы усаживались в кареты – длинною пестрою лентою поскакали иностранные принцы. Тогда весь интерес процессии перешел на Красную площадь, где народ заждался, по случаю приостановки шествия пред Иверской часовней. Но я еще остался у того же окна, пока не тронулись кареты цариц. Когда же затем я присоединился к остальной нашей публике, уже сидевшей у окон, ведущих на Красную площадь, то увидел, что государь успел доехать до памятника Минина. Золотая карета вдовствующей императрицы только что выплыла из-под Иверских ворот, и здесь только я заметил, что эта Екатерининская карета все время качалась, как колыбель, на своих высоких вычурных рессорах и что улыбавшаяся народу старая государыня сидела в ней, как в лодке на бурных волнах, благодаря непрерывным толчкам московской мостовой. Прошло еще две минуты, и я уже увидел Николая II исчезающим, впереди кортежа, под Спасскими воротами Кремля. Возвратившись к окну на Тверскую, я застал на ней еще целую кашу золотых карет, тянувшихся в Кремль, с великими княгинями, принцессами и фрейлинами внутри. Интерес въезда был исчерпан.

III

Я остался в Москве. Меня втягивала напряженная, театрально-возвышенная, почти сказочная атмосфера столицы. До коронации оставалось еще четыре дня. Весна хорошела с каждым новым утром. Каждый раз, просыпаясь, я видел вокруг себя тот необычайно нежный золотой свет, который до скончания века будет радовать людей. Мы обыкновенно сходились с моим товарищем за утренним чаем и рассказывали друг другу все, что видели накануне. Его маленькая столовая выходила на восток и по утрам была светлее всех комнат. Как я уже говорил, все в ней было новое: поднос, ложечки, подстаканники, ситечко, сухарница, покрытая суровой салфеткой с русским шитьем, стулья и буфет. Экономка Арина поддерживала образцовую чистоту, покупала вкусные булки и клала на стол свежую газету. При молодом свете весны этот молодой хозяин и его молодые вещи действовали на меня обновляюще. Мне казалось, что все это – наше общее, недавно устроенное холостое хозяйство. После чая мы курили в узеньком кабинете. Письменный стол с красивым прибором и пресс-папье, юридические книги в аккуратных переплетах и просторный клеенчатый диван мне очень нравились. А когда затем мы переходили в гостиную, то я не без удовольствия посматривал на маленькую люстру с хрустальными подвесками, на зеркало между двумя окнами, на ковровую скатерть перед диваном и на пару желто-бронзовых канделябров, украшавших полку на печке. Вскоре после утренней беседы мы обыкновенно выходили из дому в разные стороны и встречались только на следующее утро.

Спустившись на улицу, я попадал в то же неизменное море флагов, щитов, ламповых нитей, декораций и т. д. Во всех лучших украшениях преобладало изображение короны. Этот бриллиантовый символ монархии, созданный целыми веками, поневоле приобрел в моих глазах особую красоту. Он как бы выражал собою торжественное настроение народа, желающего видеть в царской власти сияющую и незыблемую святыню. Мне вспоминались слова Пушкина: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»… Действительно, ведь если бы пришлось следовать рассудку, то никакой бы коронации не было. Чего, казалось бы, проще, как взять да и надеть корону, – прямо взять со стола и надеть. Вероятно, Николай II уже и клал ее себе на голову, когда примерял перед тем, как ее переделали по его мерке. Да мало ли что! Такое возложение на себя короны ровно ничего не стоит. А ведь вон что придумали: чуть ли не весь мир

съехался в Москву на целых три недели ради одной той минуты, когда император наденет на себя корону. Сколько суматохи, сколько обрядов до этой минуты – и сколько пиршеств, сколько ликования после нее!

Государь в самый день въезда переехал с женою в Нескучное, за Калужской заставой, – в чудесный Екатерининский дворец, окруженный громадным вековым садом. Оттуда молодые супруги ежедневно приезжали часа на два в Кремль для различных церемоний, как то: приема послов, освящения государственного знамени и т. п. Там же, в Нескучном, они и говели, так как во время обряда коронования им предстояло принятие св. Даров.

Во все эти дни каждому невольно думалось, что эти супруги сияют над целым миром с высоты Кремлевского холма, в виде недосягаемой четы юных богов. Все, что теперь суетилось, надеялось, радовалось, блистало и важничало в переполненной Москве – все это находилось под их стопами. Прибавьте к этому весну и предполагаемую влюбленность этой божественной четы…

Улицы продолжали кипеть блестящим оживлением. На каждом шагу попадались «знатные иностранцы» и нарядные иностранки. Моды того сезона были как бы созданы для тоненьких женщин: длинные тальи; узкие рукава, чуть взбитые на плечах и спускающиеся на кисть руки до самых пальцев; юбки колокольчиком, широкие в основании, с обильными складками, без шлейфа; круглые шляпки с целым садом больших колеблющихся цветов.

Самые изящные образцы таких туалетов можно было видеть теперь в Москве. Рестораны «Славянского базара» и «Эрмитажа» были битком набиты знатью, сановниками и всевозможными мундирами. В часы завтрака и обеда трудно было добиться места. За отдельными, заранее заказанными столами усаживались только «баловни судьбы»: дипломатия, двор, миллионеры. Здесь можно было видеть и расплывшуюся желтую старуху с громкой фамилией, окруженную молодыми карьеристами; и подкрашенную тощую княгиню, имеющую вид самой дешевой кокотки, и цветущее общество изящных молодых женщин, разрумяненных шампанским, перекидывающихся страстными взглядами с благообразными и выхоленными кавалерами своего стола. Все это сорило деньгами, пировало, выставлялось и кокетничало только благодаря разрешенным всем и каждому веселию и расточительности в ожидании коронации.

Весеннее солнце добилось-таки своей победы. Накануне коронации был уже совсем ясный день. Я полюбопытствовал пройти к Успенскому собору. Там я застал настилку алого сукна на помосты для предстоящего шествия. Вход к этому зрелищу, к

моему удивлению, не был загражден, но мне ежеминутно казалось, что меня выгонят. Страшно было даже вступать на это новое, лоснящееся, красивое сукно. Однако по нем проходили и рабочие и солдаты. Все пространство между Успенским и соседними соборами было им покрыто вдоль широких помостов с белыми перилами по сторонам, и теперь заканчивалась драпировка всего этого пути. На одном из проходов я завидел издалека великого князя Владимира Александровича. Он покрикивал на своих спутников, распоряжался и что-то указывал. Мне, однако, удалось не встретиться с ним, и я подошел к самым дверям Успенского собора. Но входить в него можно было только по билетам. Оттуда вышел Репин, готовивший эскиз коронации. Мы поздоровались с ним среди этих приготовлений под лучами великолепного майского солнца, и разошлись.

В тот же день мне удалось достать билет на трибуну в Кремль, т. е. на весьма замкнутое пространство, прилегающее к Успенскому собору, – иначе говоря, на всю территорию алого сукна, по которой пройдут коронационные процессии. Мне помог только исключительный случай: одно важное лицо заболело и его билет был переписан на мое имя. Пока мой билет заготовлялся в канцелярии, директор Департамента общих дел уже совещался с кем-то насчет завтрашней депеши в Петербург. Обсуждали первую фразу: «Священное коронование совершилось». Она показалась сухою; в ней чего-то недоставало. Вспомнили депешу предыдущей коронации. Там было сказано: «С Божиею помощью, совершилось», и эта редакция была принята. У обоих совещавшихся сановников были очень красивые коронационные бутоньерки в петлицах: бледно-голубой бантик и над ним императорская корона матового золота.

К вечеру, отягощенная флагами и декорациями, переполненная приезжими со всех концов мира, Москва уснула.

Утро 14 мая было очаровательное. Все небо, из края в край, синело без единого облачка. Нахлынуло совсем летнее тепло. Спозаранку, общим хором загудели колокола – и гудели настойчиво, непрерывно, мощным праздничным басом. Это была удивительная, необыкновенно важная и в то же время чрезвычайно простая симфония, потому что среди общего гула разнообразнейших колоколов все время обозначался один и тот же ритм, отбивавший «раз-два». Получалось нечто веселое и торжественное. Казалось, что колокольный звон идет на сорок верст вокруг Москвы и что даже с отдаленных полей к нам долетают тонкие звуки сельских колоколен.

Все стремилось к Кремлю: пешеходы, коляски, кареты, ландо. Несмотря на ранний час, все проезжающие дамы были

расфранчены и почти все в белом. У подножия Кремля я застал уже плотную массу пустых экипажей, оставленных приехавшими, и запрудившими проезд вокруг Петровского сада. Толпа мужиков бежала вверх, под арку одной из башен, и я решил войти в Кремль вслед за ними, между двумя шпалерами конных казаков. Народ, среди которого я протискивался, был народ уже отобранный полициею, но когда я дошел с ним до пролета арки, то многие из мужиков были прогнаны обратно, а насчет себя я узнал от полицейских, что с моим билетом надо пройти через Тайницкую башню. Возвращаться против напирающей снизу толпы было очень трудно, тем более, что приходилось лавировать среди казачьих лошадей и можно было даже попасть под нагайку. Спускался я довольно долго, но спустился благополучно. Тогда я увидел, что к Тайницкой башне нужно пробираться между лошадиными мордами и дышлами скопившихся внизу экипажей. Я шагал бодро и увиливал искусно среди всех этих препятствий. Вот уже надо мной и Тайницкая башня. Запыхавшись, я остановился. У подошвы холма стояли полицейские. Они меня почтительно пропустили, и я стал взбираться наверх по узкой пустой тропинке, поднимавшейся к башне среди зеленеющей травки. На вершине меня опять проконтролировали два каких-то пристава, и я вступил в маленький коридор, забранный досками. В конце коридора была открытая дверь – и тут я сразу попал в самый центр торжества, т. е. взошел на трибуну для зрителей, рядом с красным крыльцом. Впечатление было ошеломляющее.

Я очутился в великолепном цирке под открытым небом. Стены этого цирка состояли из трибун и Кремлевских соборов. Позади этой ограды исчезла вся остальная Москва. Там были тысячи тысяч народа, сдавленного, преследуемого, толкающегося, любопытного и ничего не видящего, кроме Кремлевских колоколен, под сенью которых ему воображались теперь неописуемые чудеса. А мы сидели удобно, как в театре, и все видели.

Внизу, под нами, была арена цирка. Она состояла из свежего алого сукна, лежавшего широкими путями по всем переходам предстоящей процессии. Белые решетки окаймляли эти пути. Кавалергарды в латах, как римские воины, стояли на равном расстоянии друг от друга вдоль белых решеток по обеим сторонам всех изгибов красной дороги. Остальная земля, во всех впадинах между помостами, была заполнена плотной массой мужицких голов. Там же, в одной из впадин, была воздвигнута эстрада для придворного оркестра. На ней толпились музыканты в красных мундирах, с золотыми и серебряными трубами. Все это пестрело широким ковром у наших ног. Белые стены соборов и

другие трибуны, подобные нашей, переполненные богатой и сановной публикой, чинно щебетавшей в тихом солнечном воздухе, – ограждали со всех сторон эту арену. Два резких, светлых пятна выделялись внизу, на арене, – два балдахина, приготовленных: один для старой государыни, другой – для новой императорской четы. Первый поменьше, второй побольше и подлиннее. Ослепительно-белые пучки страусовых перьев увенчивали их плоские кровли, как бы стройным рядом совершенно одинаковых букетов. Вид этих балдахинов из ярко-золотой парчи, с кокетливыми фестонами, цветными гербами и сверкающими кистями был необыкновенно радостный. Несмотря на тяжесть материалов, они казались легкими. О погребении, при котором также употребляются балдахины, невозможно было и подумать. Казалось, что и самое бракосочетание вещь слишком будничная для того, чтобы прикрывать жениха и невесту подобною сенью. Нет! Это были навесы чарующие, созданные воображением для чего-то избранно блаженного.

По свободному полю алого сукна изредка проходили блестящие военные или статские сановники. Вокруг меня, на нашей трибуне, только и виднелись, что звезды да аристократия обоего пола. Влево от нас поднималась лестница Красного крыльца. Оглянувшись вверх, я увидел высоко над собою, вдоль всего длинного балкона Кремлевского дворца, густую толпу придворных дам в кокошниках и вуалях, унизывавших собою балкон, как зрители в райке громадного театра.

Был еще только девятый час утра. На кого ни посмотришь – на всех парадные одежды, у всех веселые лица, с одним общим выражением: «Увидим, посмотрим». Самое ожидание как бы доставляло удовольствие. Погода была прелестная. Бесконечная пестрота публики развлекала зрение. Звон Москвы разливался в нежном воздухе. Юное солнце золотило верхнюю часть Красного крыльца, белые стены соборов, арену, обтянутую пурпуром, – латы, каски, перья, парчу, галуны, шитье на мундирах, легкие туалеты дам на трибуне дипломатов, расположенной против дворца. Наша трибуна еще скрывалась в светло-голубой тени. На колокольне Ивана Великого, в двух местах, как два тонких ожерелья из черных птиц, высоко виднелась крошечная публика, попавшая туда по особым билетам. Эта публика действительно казалась нам стаею птиц, заглядывавшею с высоты неба в наше великолепное убежище, отовсюду огражденное от малейшей помехи.

Я часто запрокидывал голову на верхнюю площадку Красного крыльца. Двери во дворец были настежь раскрыты. От этих дверей внутрь дворца тянулись чудесные, залитые солнцем залы, и там,

где-то далеко, во «внутренних апартаментах», скрывались теперь молодой муж со своею женою и ребенком… Но, Боже мой, есть ли теперь какая-нибудь возможность думать о них в таких простых выражениях?! Конечно же, там происходит теперь самая обыкновенная закулисная возня: Николай II курит и одевается; его жене щипцами закручивают волосы; их девочка стукает об стол какой-нибудь игрушкой. – Но нет, – положительно нельзя об этом думать… Ничего этого нет. Есть только ожидание святыни…

Вдруг малый балдахин сдвинулся с места и стал приближаться к Красному Крыльцу. За него ухватились высшие сановники – не ниже 3-го класса. Восемь генерал-адъютантов и генерал-лейтенантов, в предшествии церемониймейстера и обер-церемониймейстера, поднесли его к нижней ступени лестницы. Раздалась команда «На караул!» Я увидел длинный палаш, повелительно протянутый в воздухе. Все кавалергарды, стоявшие вдоль белых решеток по пути процессии, с шумным лязгом сразу обнажили свои палаши и выпрямили их вверх. Повиновение, преданность, доходящая до готовности пожертвовать жизнию, чуялись в этом звуке и в этом движении. Забили барабаны, опустились знамена. – Что же случилось? Вдовствующая императрица должна была сейчас показаться на Красном Крыльце, чтобы пройти в Успенский Собор.

Под оглушительные звуки оркестра, грянувшего гимн, государыня, в короне и порфире, сопровождаемая блестящею толпою свиты, спускалась с лестницы. Собственно, я увидел ее лишь тогда, когда она, вступив под балдахин, уже шла под его сенью, по красной дороге, ведущей в Успенский Собор. Царская порфира вовсе не такова, какою мы ее себе воображаем и какою видим на большинстве императорских портретов. Она слишком громадна для того, чтобы плавно падать с плеч и соразмерно с ростом венценосной особы расстилаться у ее ног. Порфира облекала собою только шею и плечи государыни, прикрывая их широчайшим горностаевым воротником. Но тотчас же ниже плеч вся тяжкая и длинная масса золотой парчи, затканной орлами, подхватывалась ассистентами и покоилась грузными драпировками на их приподнятых руках, – так, что вся фигура государыни обрисовывалась целиком в белом платье со шлейфом, а порфира имела вид колоссального золотого чудовища, которое ухватилось за ее плечи, но которое было, по возможности, отделено от ее тела преданными царедворцами и тянулось вслед за нею на их изнемогающих руках. Государыня переступала легко и молодо, делая направо и налево короткие привычные поклоны. Небольшая женская императорская корона отливала синими и красными огнями бриллиантов поверх ее искусно причесанной

головы. Она плыла по красному сукну, под балдахином, как бы не чувствуя порфиры, будто она непринужденно скользила по паркету Аничковского дворца, у себя на танцевальном вечере, и приветствовала знакомых. Высшее духовенство, в драгоценных облачениях, встретило ее у дверей Успенского Собора. Балдахин отошел в сторону, и государыня вошла в собор.

Тогда другой балдахин приблизился к Красному Крыльцу. В то же время в залах дворца начала формироваться сложная коранационная процессия. Она состояла из сорока девяти отдельных номеров, предшествующих императорской чете: волостные старшины, Городские головы, всевозможные учреждения, сенаторы, члены Государственного Совета, министры, императорские регалии и наконец государь с государыней. Трудно было уловить минуту, когда все это начало спускаться с Красного Крыльца. Понемногу – сперва пореже, а затем погуще – люди в разных мундирах проходили по лестнице и направлялись к собору. Каждая следующая группа мундиров шла быстрее. Затем вся лестница покрылась золоченою толпою – и затем вдруг поднялся неистовый рев и гвалт, – казалось, что все колокола Москвы и весь ее народ заглушали друг друга и что в этом слитном стенании придворный оркестр со своими гигантскими трубами, как задавленный ребенок, беспомощно выкликал народный гимн. Что-то дикое, сумбурное, надрывающееся и несокрушимое чуялось в этом громе и хаосе звуков… По нижним ступеням лестницы промелькнули многочисленные сияющие регалии на подушках. Балдахин уставился против последней ступени. И я видел, как Николай II в мундире Преображенского полковника, свежий, выхоленный, вступил под балдахин весьма резво, немножко нагнув голову без всякой надобности, потому что балдахин был чрезвычайно высок, и тотчас же поторопился дать место позади себя своей жене. Молодая государыня, в белом декольтированном платье, покорно и смущенно последовала за ним. Ее обнаженные плечи, юные и цветущие, ослепительно белели на солнце; их полнота достигала тех пределов, за которыми всякое изменение уже нарушает гармонию. Две длинные рыжеватые букли, разделенные на затылке, ниспадали ей спереди на грудь… Вслед за балдахином плавно потянулись иностранные принцы и принцессы, великие князья и великие княгини, шедшие попарно, под руку, как в полонезе, с длинными промежутками, вследствие ниспадавших дамских шлейфов, хвосты которых несли пажи. Когда линия этого полонеза вытянулась почти во всю длину помоста от дворца до собора, то издали она походила на цепной мост, столбы которого изображали каждый кавалер с дамою, а цепи – светлые шлейфы,

соединявшие все эти пары длинными дугами. Диадемы, ожерелья, бриллиантовые кокошники, платья, затканные золотом и усыпанные каменьями, воздушные белые вуали царственных дам обращали весь этот движущийся цепной мост в настоящее сказочное видение. Горделиво и свободно двигались по красной дороге эти купающиеся в сиянии пары – и тем более дикою и неистовою казалась многотысячная толпа, запрудившая все видимое пространство вокруг белых перил, – толпа, изрыгавшая нечеловеческий рев, смешанный с колоколами и трубами.

Наконец всю эту церемонию поглотил в себя Успенский собор. Двери его затворились. Публика сразу почувствовала себя свободнее. Трибуны поредели. Многие спускались со своих мест на красное сукно, прохаживались по нем и навещали своих знакомых на других трибунах. Все это были сановные элегантные люди. Совершавшееся теперь священнодействие вполне согласовалось с их взглядами на жизнь, и все они ему сочувствовали благородно, самодовольно, искренно и мудро. И действительно: нужно же было сделать настоящего священного правителя для богатой и сильной России! И вот – благодарение небесам! – среди этой чарующей весенней погоды, при общем поклонении всей Европы теперь произойдет в Успенском соборе нечто бесповоротное в глазах народа: Николай II сделается «Помазанником Божиим». До этого дня было только полцаря – теперь будет целый царь – «сильный, державный, царь православный»… И военные, и статские, в новехоньких мундирах, – все имели одно и то же выражение преданной радости. Любезничали, перекликались французскими фразами – и во всем этом чувствовалась грациозная аристократическая или бравая любовь к монархии. Да и то сказать: как было хорошо и удобно здесь каждому из нас любоваться великолепием, красотой и богатством всего окружающего! И попробовал бы кто-нибудь, осмелился бы кто-нибудь из той многочисленной толпы, которая кишела и удушалась в давке за стенами нашего театра, в чем-нибудь нарушить наши удобства! Да Боже мой, разве можно себе даже представить это?.. А все почему? – Монархия.

Солнце поднималось выше. Успенский собор белел передо мною в левом углу с своими затворенными дверьми. По временам в него проходили маленькие фрейлины, в кокошниках и вуалях, скромно подбирая на руки свои шлейфы. Впервые я видел костюмы наших фрейлин, и они мне не понравились: кокошники низкие, а шлейфы какие-то увядшие. Иногда стеклянная дверь собора приотворялась, и из нее выходил какой-нибудь одинокий незначительный мундир. Обряд обещал затянуться надолго. Делалось жарко. Я испытывал жажду и голод. Хотелось курить. Я

вышел из нашей трибуны в коридорчик, через который взошел на нее. Там я встретил группу военных. Между ними оказался весьма любезный знакомый мне жандармский полковник, румяный и веселый. Он достал мне сельтерской воды и даже поделился со мною своими тартинками. Подкрепившись, я возвратился на свое место. Солнце уже забралось на нашу трибуну и пришлось раскрыть зонтик. По красному сукну, как и прежде, то и дело проходили разные лица. Попадались старые декольтированные статс-дамы. Одна из них, жирная и бойкая, очевидно побывавшая в соборе, сиплым басом весело сказала кому-то: «Уже в короне!»… Но до конца церемонии было еще далеко, хотя вскоре после этого известия и началась пушечная пальба, но мы знали, что еще предстоит литургия и миропомазание.

В общем коронование длилось более двух часов. Наконец двери собора распахнулись, и из него снова посыпались всякие мундиры. В эту минуту в нашу сторону направилось только обратное шествие вдовствующей императрицы. Государь и государыня, в коронах и порфирах, вышли в другие двери собора для того, чтобы обогнуть его за пределами дворцовых построек, – и это были единственные мгновения, когда вся остальная Москва мельком могла увидеть издали, на Кремлевском холме, коронационный балдахин, покрывавший венценосцев. Поднялась пушечная пальба, сопровождаемая тем же усиленным ревом народа, колоколами и музыкой. И вот снова показался балдахин, возвращавшийся к нам из-за первого угла собора. Всем хотелось поскорее заглянуть под него, чтобы увидеть короны на головах царя и царицы, но их заслоняли «ассистенты». Остановившись у Архангельского собора, в который государь и государыня вошли, чтобы «поклониться гробам предков», – процессия затем повернула к правому концу нашей трибуны. Там, у ступени Благовещенского собора, балдахин остановился, и я увидел венчаную голову Николая II. Корона, походившая на очень большой бриллиантовый глобус, была до несоразмерности громоздка и выпукла для его миниатюрной и незначительной головки. По сравнению с началом церемонии, царь был неузнаваемо тощ и бледен. Темная бородка на впалых щеках как бы еще увеличивала его бледность. Кругобокая бриллиантовая митра, неестественно суженная в основании, по мерке его головы, положительно угнетала его своею величиною и тяжестью. Гигантская порфира, оттопыренная на плечах и влекомая сзади, от его локтей, генералами, еще менее соответствовала его фигуре. С видом изнеможения, он отдал скипетр и державу каким-то придворным и потащил за собою порфиру с генералами на крыльцо Благовещенского собора. Архиереи, в золотых

облачениях, встретили его с крестом и иконою. Я видел, как его маленькое лицо, под этой громадной короной, прикладывалось к образу и кресту и как затем он целовал руки архиереям, а они – ему. Казалось, что и царь, и Бог, и вся русская история, и вся русская вера слилась теперь в особе этого слабенького молодого полковника, который как будто совсем куда-то исчез под невероятно большими и тяжкими святительски-царскими одеяниями… Государыни я в тот раз не мог рассмотреть. Но минуты четыре спустя шествие уже двигалось как раз под нами, направляясь мимо нашей трибуны к Красному крыльцу. Церемония приближалась к своей пристани. Все несколько устали. Солнце падало вертикальными лучами в котловину цирка. На широком помосте алого сукна, врассыпную, медленно шагали расшитые золотом первые сановники империи. Среди них выделялся рослый и крепкий Витте, который переступал несколько сгорбившись и заложив руки назад, словно он буркал себе под нос: «Пускай! За все заплачу!» Рядом с ним шел Муравьев, почему-то решивший всегда становиться в пару с Витте еще на погребении Александра III. Он жеманно вытягивался, будто был в корсете, щурился и закидывал голову назад, маршируя медленно и сановито, как-то по-военному. Шел маленький Горемыкин, распаренный солнцем, с своими длинными и скучными седыми бакенбардами, тупо смотря вперед, точно он говорил: «Довольно утомительно и жарко, но ничего, все идет благополучно». Сухой и длинный Победоносцев посматривал своими рыбьими глазами на «священную особу» государя императора. А государь, согнувшись под тяжестью венца, держа в одной руке скипетр, а в другой державу и неловко раскидывая усталыми ногами в ботфортах, – дотаскивал порфиру с генералами до вожделенных дверей Кремлевского дворца. Государыня, в противоположность своему бледному мужу, раскраснелась, как огонь. Она мило несла на своей голове новенькую корону, но ей, даже при ее большом росте, порфира как будто была в тягость. По крайней мере, она не умела идти под нею так непринужденно, как маленькая, но привычная к парадам Мария Федоровна.

Пушечные выстрелы еще продолжались. Вокруг царя и царицы было столько золота и драгоценных каменьев на всем и на всех, что никакое ювелирное чудо не могло уже выделяться среди этого сплошного сверкания. Например, у верховного маршала и верховного церемониймейстера на вершине жезлов были какие-то исторически-громадные изумруд и бриллиант, но никто решительно их не заметил. Так же мало были приметны в избранной толпе, сопровождавшей балдахин спереди и сзади,

отдельные сановники, из которых каждый был так могуществен в своей области. И я думал: «Ведь эти люди, облеченные в золото и наполняющие теперь, под лучами солнца, четырехугольный двор между Кремлевскими соборами, – ведь это и есть все то, что управляет Россиею!.. И, в сущности, как мало во всем этом жизни, смелости, таланта!.. А впрочем… вероятно, еще многие-многие годы покрышка России останется именно такою».

Улита едет – когда-то будет…

Балдахин остановился. Государь и государыня, окруженные целым народом всяких мундиров, взошли на первую площадку Красного крыльца. Вот наконец оба они повернулись лицом к толпе – для знаменитого поклона. Государь стоял слева, государыня справа. Солнце уже показывало верхний край своего ослепительного диска из-за кровли дворца и поверх нее выбрасывало снопами свои резкие лучи. Обе фигуры коронованной четы вытянулись. На фоне порфиры обрисовался худенький полковник в ботфортах; государыня, прямая и высокая (равная мужу с его непомерной короной), стояла, опустив руки, в длинном белом платье, с красной Екатерининской лентой поперек лифа. Супруги трижды наклонили головы. Бриллиантовый глобус Николая II трижды засверкал на солнце всевозможными огнями… И когда, после третьего поклона, государыня повернулась ко входу во дворец, то Николай II с нескрываемою поспешностью и удовольствием сделал военное «на-ле-во-кругом-марш» и вслед за женою поспешил в Кремлевские залы.

Тем и окончилось «священное коронование»…

Остальные обряды, предстоящие монарху в этот день, известны по церемониалу. Я их не видел. Еще многократно раздавались из Кремля пушечные залпы. Летняя погода тихо и «благосклонно» сияла над Москвою. В самый разгар солнца, всего два тонких и длинных облачка – неподвижно-белых – протянулись в зените синего свода и тотчас растаяли. Многолюдство улиц сделалось гигантским.

Едва стало смеркаться, как на балкон Кремлевского дворца вышла царская фамилия, и Николай II поднес своей молодой жене букет из электрических лампочек, соединенный проводами с предстоявшей иллюминацией. Букет, взятый государынею, тотчас же загорелся в ее руке, и в ту же минуту вспыхнули огненные очертания всех колоколен, башен и стен Кремля. Это была любезность, достойная признаний Демона перед Тамарою:

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой…

В первый день, однако же, не только нельзя было добраться до иллюминации, но даже нельзя было попасть с Арбата на такую улицу, с которой можно было бы видеть что-либо иное, кроме огненного креста на Иване Великом. Я увидел иллюминацию только на другой день. Меня пригласил мой друг князь Урусов прокатиться по иллюминации в его коляске. В седьмом часу вечера мы уселись: на главном месте я и княгиня, на скамеечке – Урусов, а его сын на козлах, рядом с кучером. Пунктом отправления для экипажей были назначены Тверские ворота. Чтобы обогнуть Кремль с этого пункта, нам понадобилось около пяти часов. Часто приходилось стоять на месте по получасу, выжидая, пока двинется передний экипаж. Я недоумевал и сердился, а Урусов с доброю улыбкою гладил меня по колену и приговаривал: «Ах, капризник!»… Вечерний воздух этого дня был необыкновенно мягок и тих. Мы подвигались среди тысячей тысяч народа вдоль всевозможных огненных декораций. Наконец перед нами раскрылась бриллиантовая панорама Кремля. В это время в легкой тучке, высоко над Храмом Спасителя, тускловатым золотом просвечивала, как бы за транспарантом, молодая луна. В коляске рядом с нами я различил две тоненькие фигуры знатных франтих, выделявшихся и в предыдущие дни среди ресторанной публики. Они были в темных летних платьях с блестками и разговаривали по-французски о предстоящих балах. Кремль тихо сиял, как воздушное сновидение. Когда не видишь каменных стен, а любуешься только золотыми архитектурными линиями, то здания кажутся какими-то бестелесными, точно готовыми мгновенно исчезнуть. В тишине ночи ни одна точка световых рисунков не колебалась. Чешуйчатая глава Ивана Великого белела, как жемчужная вышивка. Зеленые и красные вензеля, в разных концах, горели на башнях, стенах и мостах. Было около полуночи, когда мы выбрались из сутолоки и оставили позади себя призрак бриллиантового, изумрудного и рубинового города, широко и высоко вспыхнувшего среди недвижно-теплой майской ночи.

На следующий день я выехал из Москвы.

Вы спросите: «А что же Ходынка» Она случилась без меня. Да и притом, одновременная гибель большой массы людей всегда производила на меня гораздо меньшее впечатление, нежели, например, обособленная от всей текущей жизни, одинокая кончина ребенка.

IV

Оставляю целых три года нерасказанными. Быть может, когда-нибудь соберусь заполнить этот пробел.

В конце 1898 г. однажды вошел в мой кабинет красивый грузин лет тридцати, князь, в национальном костюме, и предложил мне взять защиту его брата в Тифлисе. Это было дело об убийстве. Четверо кутил, возвращаясь ночью с попойки, поссорились с незнакомым прохожим. Завязалась драка, были пущены в ход книжалы, один из пьяной компании получил две раны, а прохожий поплатился жизнью. Брат князя, самый младший из подсудимых, обвинялся вместе с прочими в совершении этого убийства. Мой посетитель как-то сразу дал мне почувствовать невиновность своего брата. Голос его был тихий, рассказ отличался простотою и грустью. Я с любопытством принялся за чтение бумаг и увидел много чрезвычайно глупых промахов следователя. Расследование было прямолинейное, без колебаний и вопросов. Дело могло показаться безнадежным для новичка, но я увидел, что оно чрезвычайно опасно и в то же время в высшей степени спорно. Я угадал, что юного князя, по всей вероятности, припутали к преступлению зря. Пригласивший меня брат подсудимого, казалось, в такой же мере осознавал и опасность обвинения, и невиновность привлеченного. Моя поездка была решена.

Вскоре получилось известие, что заседание назначено на 21 февраля 1899 г.

Мне предстояло впервые увидеть Кавказ. Такой далекой поездки, в особенности в последние годы, я еще не делал. Физические силы мне этого не позволяли. Теперь я считал себя оправившимся и рискнул пуститься в дорогу. Жена от кого-то слышала, что февраль – «самый дивный месяц в Тифлисе». Двоюродный брат жены, ездивший на Кавказ по делам службы в предыдущем году, восхищался Военно-Грузинской дорогой и в особенности хвалил среднюю станцию Млеты. Он говорил, что туда обыкновенно приезжают ночью: «Выйдешь на балкон, – снежные горы, тишина, шумит Арагва – и непременно светит луна… Прелесть!» Я думал: «Арагва! Мцыри! Лермонтов!»

Надо было приспособляться к путешествию. Мой князь посоветовал мне запастись теплыми вещами, заметив, что «в горах – холодно».

15 февраля я выехал. В Москве пришлось только перейти на Рязанский вокзал. Мягкий снег покрывал землю. В ожидании поезда я прогуливался вблизи вокзала. Завернув за угол, я

увидел, как длинная цепь ломовых извозчиков легко неслась на дровнях по блестящим белым колеям. Лошадки бежали рысью, извозчики управляли ими стоймя. Кое-где поднимались башенки церквей. Переулок, до которого я дошел, вдыхая безветренный влажный воздух, назывался «тупик», потому что он куда-то упирался, без проезда. Москва! Странная, милая, родная Москва!

И вот я уселся в поезд на Ростов. Приехал туда только к ночи следующего дня. Два часа поджидал «передачи». На одном из диванов вокзала сидела полусонная худощавая грузинка с удивительными глазами. Ее молодое лицо имело равнодушное и вялое выражение. Возле нее лежали довольно убогие узелки – примета хлопотливой семейственности.

Когда поданы были вагоны на Владикавказ, я с удовольствием заснул.

На следующий день я проснулся с сознанием, что приближаюсь к Кавказу. Трудно было не волноваться. С младенческих лет (еще в Веселой Горе) я видел разные вещицы – кольца, мундштуки, браслеты, пряжки с черными листиками по серебру и с надписью «Кавказ». Для меня эта далекая земля была особым царством. Когда я из деревни переехал в семью, Кавказ приобрел для меня еще большее значение. Я узнал, что на Кавказе служил в молодости мой отец. Там родилась Маша. Матушка была беременна мною, когда уезжала из Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. В нашей гостиной висели на почетном месте гравированные портреты князя и княгини Воронцовых. В воспоминаниях отца и матери, Тифлис, дворец наместника, его обеды и приемы, свита князя, молодежь того времени – все это изображалось, как лучшее, что встречается в жизни. Чтение Лермонтова превратило для меня Кавказ в страну окончательно волшебную.

Около полудня мы проехали станцию, которая уже носила название «Кавказская». Из окон вагона ничего не было видно, кроме белой равнины. Но через несколько часов, с правой стороны поезда, обозначились вдали пять темных зубцов. Они походили на острые сумрачные пирамиды, раскиданные в ночной мгле. Это – «Пятигорье». Никакого «хребта» на горизонте не было. И тут я впервые увидел, насколько место действия «Героя нашего времени» оторвано от большой Кавказской цепи: впереди пошла опять ровная местность Кубанской области. Наступили сумерки. На станционных платформах все гуще толпились горцы. В десятом часу вечера я приехал во Владикавказ. Погода была совсем зимняя: мелкий снег на мостовой и довольно сильный ветер.

Кое-как добыв номер в гостинице, я поторопился в тот же

вечер справиться на почтовой станции о завтрашнем путешествии. У меня была особая рекомендация к ханше, содержавшей почту, и я показал свою бумагу одинокому старичку, которого застал в просторной и голой комнате конторы сидевшим позади темного прилавка, при свете маленькой керосиновой лампы. Я ожидал встретить с его стороны быструю услужливость. Но старичок имел вид равнодушный и как бы спокойно-безутешный. Он сказал, что никакого сообщения по Военно-Грузинской дороге нет уже в течение нескольких дней… Я не поверил такому несчастию. Что же могло случиться? Почему дорога закрыта? Старичок показал мне депешу начальника дороги о снежных заносах, завалах и о том, что далее станции «Казбек» проезд невозможен.

– Но я не могу ожидать! Быть может, погода поправится…

– Может быть…

Оставив на станции рекомендацию к ханше, я возвратился в гостиницу. Было почти несомненно, что я не поспею к заседанию. Однако мне все еще не верилось, что ехать совсем нельзя. Нужно будет во всяком случае добраться до такого места, далее которого нет проезда, и оттуда телеграфировать в суд. Я не мог себе представить, в чем же заключаются препятствия. Неужели беспросветная вьюга – что-то неодолимое, опасное, смертельное?.. Хотелось непременно своими глазами увидеть тот предел, где начинается неодолимое.

Молодой грузин, подававший мне чай, рассказывал, что все гостиницы переполнены застрявшими путешественниками.

Но рекомендательное письмо все-таки подействовало. Вскоре ко мне явился управляющий ханши и объяснил, что во всяком случае коляска и четверик будут мне приготовлены на завтра и что все будет зависеть от сведений о погоде.

К утру погода совсем прояснела. Светило солнце. Морозный воздух был чуть подернут голубоватым и прозрачным горным туманом. Выйдя на улицу, я увидел вздымавшиеся вокруг Владикавказа золотистые громады, состоявшие из облаков, гранита и снега. Очертания этих громад были смутны. Но они явственно глядели на меня изо всех переулков, местами обнажая черные гребни и уступы с белыми пятнами крепкого снега сквозь досадную кисею тумана, которую так и хотелось разорвать, чтобы их целиком увидеть. Минутами вся эта декорация исчезала и, несмотря на солнечную погоду, случались промежутки, когда в глубине переулков ничего не было видно, кроме белого молочного горизонта.

Сведения о проезде в горы были почти те же, как и вчера. В депеше было сказано, что принимаются меры к расчистке пути за

Казбеком. Я заказал экипаж к трем часам и прикупил несколько теплых вещей: башлык, шерстяные чулки и «чевяки», т. е. мягкие сапоги из черного войлока, с серебряным позументом от ступни до колен и сафьяновыми туфлями внизу.

В назначенное время мне подали открытую коляску с отборным четвериком. На козлах сидел плечистый и могучий проводник в папахе, в тулупе с серебряными патронами и с кинжалом за поясом. Нос горбом, великолепная черная борода с проседью – совсем «казак императрицы».

И мы покатили по мостовым Владикавказа в сторону гор.

Была уже половина четвертого. Воздух имел вечерний оттенок. Меня везли как начальника. Я прогремел по мосту через какую-то мутную, довольно быструю речку. Спросил проводника – он сказал, что это Терек.

Дорога свернула в город. Мы ехали по жидкой грязи, вдоль шоссе. Впереди поднимались черные стены гор, упиравшиеся в быстро бегущие, потемневшие облака. Нам встретились конные офицеры и солдаты, возвращавшиеся откуда-то с учения. Мерно хлопали копыта их лошадей. И вся эта военная группа показалась мне маленьким караваном под гигантскими скалами. «Вот как, – думалось мне, – служили здесь Лермонтов, Одоевский, Толстой…»

Проводник трубил в рожок какой-то бравый, но глупый ритурнель, каждый раз, когда видел впереди какое-либо препятствие нашему быстрому проезду. И так мы незаметно врезались в широкое ущелье: коляска ехала по узкому шоссе у одной стены, – за насыпью шоссе расстилалась булыжная равнина с узенькой лентой туманного Терека посредине, – а по ту сторону равнины вздымалась другая непрерывная каменная стена, из-за которой и неба не было видно…

Я радовался, что все, по-видимому, обстояло благополучно. Никакой непогоды не было. Являлась уверенность, что так же будет и дальше. Как приятно в таких условиях обозревать Кавказский хребет. Внизу обширная и однообразная россыпь круглых камней разной величины, сухая и мертвая равнина, словно «поле костей» из «Руслана». В ней Терек настолько ничтожен, что напоминает ручей дождевой воды, выбегающей из трубы с крыши высокого дома. Только белые гривки сердитой пены да упорный шум этой речки в грандиозной панораме гор обличают ее славу. Так вот она – Военно-Грузинская дорога! Как все дико и любопытно. Какие чудовищные стены поднимаются там, по ту сторону равнины! Морщины, трещины, смелые побеги камня в высоту, в такую высоту, что голова кружится – и вдруг где-то, куда и добраться невозможно по отвесной стене,

виднеется арка пещеры с каким-то деревцем у входа. Я спрашиваю проводника: «Что там? Может ли кто-нибудь заглянуть туда?» Он отвечает (и, может быть, врет): «Там есть жители»…

Ничто кругом не движется, а между тем как будто ощущается ветер. Сначала кажется, что это просто движение встречного воздуха. Но мы не настолько быстро едем, чтобы воздух свистел в ушах. Делается несколько неприятно, да и прямо холодно от этого невидимого ветра. Но вот к свисту прибавляется шум, и воздух приобретает такую быстроту, что надо опускать нос, чтобы не задохнуться, а тальма моей шинели то и дело хлопает меня по лицу или вдруг вся поднимается и торчит несколько мгновений, не опускаясь, – так, что и разговаривать с проводником нельзя. Приходится поднять верх коляски. Но ветер возрастает. Проводник накладывает на шапку башлык. Он говорит, что недалеко первая станция Балты, что ветер в ущелье не означает непогоды и что мы отлично поедем дальше.

Было уже довольно темно, когда коляска остановилась у белого станционного домика в маленьком селении Балты. Вылезши из коляски, я убедился, что ветер бушевал во всю. Он был настолько силен, что не будь я в горах, я бы счел его за самую страшную бурю. Полагаясь, однако же, на проводника, я велел поскорее перекладывать лошадей, поднялся по крылечку в сени станции и вошел в буфетную комнату. Она была небольшая, с диваном, креслами, ковриком, с закусками на стойке и с трехгранным выступом в виде павильона, обращенного к шоссе. Жиденькие рамы окон тряслись от ветра. Он так неистовствовал, что минутами казалось, будто павильон подвергается пушечным выстрелам… Прохаживаясь по комнате, я испытывал легкий озноб и тяжесть в голове. Что-то неладное и тревожное чуялось в этой оглушительной буре. Станционная прислуга, хотя и не смущалась, привыкнув к шуму ветра в ущелье, но держалась молчаливо и как-то уныло. В комнату вошли два простоватых пассажира, для которых уже была готова открытая перекладная. Один из них присел с сумрачным видом и сказал, что далее следующей станции они не поедут.

«Знаю я эти горы! Поднимается метель; пропадать надо с этим ветром! Нет! Уж мы заночуем в Ларсе, и вам не советуем дальше ехать».

И действительно. Двухчасовой переезд до станции Ларсы, в потемках, под возрастающим ветром, с усиливающеюся головною болью, – был для меня сплошным мучением.

Несмотря на подбадривание моего проводника, я окончательно не мог ехать дальше. Я застал моих скептических

попутчиков уже устроившимися на ночлег в лучшей пассажирской комнате. В ней были ковры, она была наряднее и теплее двух остальных. Я изнемогал от мигрени и никак не мог согреться. Вид у меня был такой жалкий, что эти добрые люди, не справляясь даже о моих формальных преимуществах перед ними по рекомендательному письму ханши, сразу решили перейти в другую комнату после общего чая, который мы заказали татарину. Сжимая виски пальцами и глотая горячий чай, я слабым голосом рассказал моим собеседникам, зачем и куда я еду. Они меня знали понаслышке и отнеслись ко мне сочувственно. Между тем ветер продолжал свою бомбардировку. Из окружавшей нас ночи он налетал на станцию какими-то ужасающими длительными пароксизмами. К концу каждого пароксизма казалось, что вот-вот рухнут стены… Но затем раздавался оглушительный залп – и наступала коротенькая пауза, во время которой уже подготовлялся следующий, едва шумевший издалека налет бури…

Наконец мои собеседники ушли. Но едва я запер за ними дверь, как в сенях послышался голос нового приезжего, и ко мне постучали. Молодой судебный чиновник, в форменном пальто и башлыке, извиняясь, вошел ко мне и сообщил, что он сегодня сделал перевал через горы на салазках. Он считает своею обязанностью предварить меня, что если я тороплюсь к сроку, то нужно пользоваться минутой и сейчас же ехать, потому что метели могут возобновиться.

– Как я рад, – добавил он, – что теперь уезжаю навсегда из этого проклятого Закавказья! Еду на должность в Россию.

Я поблагодарил этого славного малого за совет, но сказал, что, к сожалению, не могу пуститься в дорогу по нездоровью и рассчитываю выехать отсюда рано утром.

Он пожелал мне удачи, ласково простился и через несколько минут отъехал в сторону Владикавказа.

Терзаемый мигренью, я лег не раздеваясь, потушил лампу и под грохот бури от времени до времени менял положение, сообразно приступам боли. Я уже терял понятие о том, где я и что со мною делается. Дьявольский шум ветра вокруг заснувшей станции и такая же дьявольская боль в мозгу превратили меня в полуживое, нелепое и страдающее существо. Я не спал и не думал, а только слушал и болел… Но вот, с неуловимою постепенностью, промежутки между залпами ветра становились как будто более продолжительными. Случилось, что в течение целой четверти часа не было никакого шума. Что-то похожее на дремоту заволакивало меня и, вероятно, я впадал в непродолжительный сон. Минутами, приходя в себя, я удивлялся,

что ветер пропал. Наконец я отлежался, увидев слабый свет пасмурного утра, и, сколько ни прислушивался, никакого ветра не слышал. Был шестой час утра. Я позвал проводника и узнал, что можно ехать дальше.

Однако, подойдя к окну, я увидел, что в воздухе мелькали едва приметные мелкие снежинки. Это меня смутило. Но татарин, принесший мне стакан чаю и пару яиц в смятку, объяснил, что это ничего, что это просто осаждается ночной туман. Действительно, крупинки были так редки и спускались так медленно, что убеждали только в совершенной неподвижности воздуха.

Проводник доложил мне, что теперь мы поедем на санях, и не четверкой, а парой, потому что впереди дорога покрыта снегом и завалена им по сторонам. Подкрепившись и закутавшись, я вышел на крыльцо. У подъезда стояли длинные зеленые сани. Татарин увязывал сзади мой багаж. Куры ходили по тесному дворику; голые деревья торчали неподвижно, обсыпанные легким инеем; воздух был теплый и влажный. Мои вчерашние спутники еще спали, и я до сих пор не знаю, продолжали ли они свое путешествие. Разбитый ночными страданиями, я уселся, и мы двинулись.

Сквозь легкую крупу виднелись обступившие нас черные скалы. Мы должны были сейчас свернуть в Дарьяльское ущелье. Скалы постепенно сдвигались, и Терек уже казался довольно широким, пробегая по каменистой ложбине всего в нескольких саженях от наших саней. Прекрасен был его мерный и близкий шум в этом безлюдном каменном коридоре! Туман висел над вершинами, и я рассматривал только нижние части горных отвесов. Я думал об оставленных в Петербурге родных и о том, что вот я теперь вижу Дарьяльское ущелье…

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле…

Как много милой музыки и верной живописи в этих словах! Здесь, где-то близко, должна быть и башня царицы Тамары… Я спросил об этом проводника. Он ответил: «Скоро увидим». Мы ехали почти в уровень с Тереком, под самою стеною гор, по узкой снежной дороге. Сани чуть не задевали больших камней, на которых всевозможные туристы обозначали свои фамилии белыми, красными и черными буквами. Мы подвигались медленно, никто не попадался навстречу и меня клонило ко сну.

Вдруг я услышал: «Вы спрашивали замок Тамары – вон впереди маленькая гора».

В середине ущелья, действительно, стояла невысокая гора,

имевшая вид черной могилы. Она была оторвана от двух гигантских хребтов, образующих «теснину Дарьяла», и Терек обмывал ее подошву. Наверху остался только нижний кусок темного фундамента… Я осматривал местность и думал: «Откуда же сбирались сюда бесчисленные поклонники царицы? Как пусто и голо вокруг! Кто сюда ездил? Как возможно было сбрасывать с башни трупы в Терек? Ведь гора довольно покатая, да и Терек запружен камнями и кажется таким неглубоким… Все равно». Я благоговейно смотрел на памятник чудесного предания. И когда мы проехали, я все еще озирался в сторону маленькой черной горы, и странный шум Терека, казалось, подтверждал, что все рассказанное про упоительную царицу и ее безумные ночи есть сущая правда и что его серые торопливые волны действительно уносили на себе когда-то безгласные тела людей, вкусивших блаженство в старой башне…

Вскоре мы переехали через железный мостик на другую сторону Терека, и горы начали раздвигаться. По бокам узкой дороги стояли крепкие стенки расчищенного снега. Кое-где попадались рабочие с лопатами. Крупа еще сеялась сверху и однажды, подняв голову, я увидел, что она как будто зачастила и закружилась. Не разыграется ли метель? Меня успокоили, что все это скоро пройдет. И действительно: понемногу, несмотря на облачное небо, вверху посветлело, и крупа совсем исчезла. Проводник возобновил свои ритурнели в рожок, потому что иногда впереди виднелась целая группа рабочих, а путь был едва достаточно широк даже для парных саней. Траншеи снега все возвышались по сторонам и черные фигуры с лопатами все чаще отступали от наших саней под круто обрезанные стены высоких снежных наносов. Мы подвигались медленно в спокойном, похолодевшем воздухе. На одном довольно крутом переезде работавшие в снегу осетины что-то сообщили моему ямщику. Я спросил, о чем они говорят, и мне объяснили, что в минувшую ночь на этом месте двое человек были завалены неожиданным «особом» снега с той горы, под которой мы ехали. Люди были спасены, а двое быков, которых они гнали, околели.

Это угрожающее известие как-то странно кольнуло меня. Я посмотрел на плотную и правильную стену снега, обрезанную лопатами, – поднял голову выше и увидел крутой снежный бок высочайшей горы, уходившей в небо над нашею дорогою, – оглянулся на тихий воздух, на равнодушных и безмолвных рабочих, – и мне подумалось, что теперь никакие подобные кошмары невозможны. Все вокруг имело вид спокойной жизни. Но я с невольным содроганием вообразил себе ревевшую на этом самом месте метель и тьму, и это простейшее мгновенное

событие, когда с боков горы сразу хлопнулась на дорогу излишняя масса снега, навеянная свыше меры… Теперь, кажется, этого не будет… Однако, в самом деле, как много снегу на горах! Хорошо, что тихо.

Дорога казалась ровною, но о нашем постоянном подъеме можно было судить по тому, что, во-первых, мы подвигались очень медленно вперед, а во-вторых, под нами постепенно увеличивалась пропасть, и Терек уходил ужасно далеко вниз. Однако прошел еще час однообразной езды, во время которой я находился как бы в полусне, – и ущелье с его высокими отвесами исчезло. Скалистые стены разошлись; дно ущелья поднялось и значительно расширилось; окрестные горы стали меньше, потому что мы сами уже взобрались на высоту; все вокруг побелело и как-то сгладилось, так что мы возвратились на левый берег Терека уже по довольно длинному и высокому мосту и затем подъехали к станции Казбек среди обыкновенного зимнего пейзажа. Мальчишки бежали за моими санями, предлагая какие-то блестящие горные камни; небольшой поселок с белым памятником в ограде (могила князя Казбека) мелькнул перед двухэтажным станционным домом – и мы остановились у входной двери со стороны двора. Было тихое белое утро. Вся панорама гор была задернута. Поднявшись во второй этаж, я вошел в большую столовую с длинным столом посредине, украшенным искусственными цветами и канделябрами. Два отдельных маленьких столика помещались у окон. Станция Казбек предназначена для ночлега пассажиров и для остановки царственных особ, а потому она и больше других, и наряднее. На стенке, у окна, я увидел изображение вершины Казбека. Акварель в узенькой золотой рамке представляла знаменитую вершину в виде гранитного клобука с несколькими пятнами сине-белого льда. Я ожидал увидеть «грань алмаза», но рисунок давал мне совсем другое… Я спросил у буфетчика:

– А в какой стороне Казбек?

– В ясную погоду он виден как раз из этого окна, у которого вы стоите…

Но в окне видно было только снежное небо.

В столовой было холодно. Прислуга ходила в теплых куртках, с синеватыми лицами и красными руками. Я спросил щей и котлетку. Насчет погоды говорили, что сегодня – первое утро без метели и что путь до следующей станции расчищен. Значит, случилось нечто лучшее сравнительно с той депешей о сообщении с Тифлисом, которую я застал в Владикавказе. Надо было пользоваться погодой, и я поторопился продолжать путешествие.

Следующая станция была Коби. Я помнил это название из «Героя нашего времени», и окружающая местность казалась мне родною уже из-за одной любви к Лермонтову. В девять с небольшим часов утра мы отъехали от Казбека.

Дорога была ровная, снежная. Кругозор расширился. Горы значительно расступились. Вместо зияющей пропасти, засыпанной камнями, образовалась пологая лощина, покрытая снегом, среди которой где-то далеко, подобно узенькой длинной канаве, чернел скованный стужею Казбек. Он все далее уходил вправо от нас и вскоре совсем затерялся где-то между отступавшими в ту сторону многочисленными и с виду невысокими белыми пирамидами разной формы. Становилось заметно холоднее, но погода постепенно прояснялась. И даже солнце засветило с таким блеском, что я, предваренный петербургскими друзьями, надел дымчатое пенснэ, чтобы не утомить зрения долгим созерцанием больших снежных пространств. Действительно, во все концы все сделалось белым. Вдалеке от нашей плоской дороги виднелись раздвигавшиеся по всем направлениям панорамы разнообразных белых конусов. Все это казалось мертвым при свете солнца. Вдруг налево, на довольно близкой от нас горе, показался почти целый городок с густо налепленными по отвесу каменными саклями и грузинскою церковью среди них – нечто похожее на Вифлеем, как его рисуют. Мне сказали, что это селение называется Сион. И опять пошла мертвая дорога. А солнце блестело все ярче.

Между тем незаметно стал появляться легонький ветерок. Он был такой невинный, что едва щипал лицо. Но я, наученный опытом, высказал проводнику опасение за погоду. Тот, по обязанности или по убеждению, ответил успокоительно. Однако вскоре замелькала редкая крупа. Затем, несмотря на яркое солнце, она стала чрезвычайно быстро сгущаться. А главное, она курилась белыми вихрями по всем окрестным горам, как будто по невидимой команде затевался нескончаемый танец снежной пыли по всем направлениям, куда бы ни вздумалось посмотреть. Сначала это было так весело, красиво и невинно, ввиду ясной погоды и любопытной панорамы гор, что я еще нисколько не тревожился. Но не прошло и пяти минут, как снег начал сильно бить меня по лицу и налетал на наши сани в таком изобилии, что, казалось, сейчас заметет дорогу. Проводник надел бурку и башлык. Он соглашался, что происходит нечто скверное, но говорил, что до станции уже недалеко. Ямщик, маленький осетин, шибко погонял лошадей. Я пригнул голову и задыхался от морозного ветра. Теперь я начинал понимать депешу, показанную мне владикавказским чиновником о метели в горах,

препятствующей проезду. Однажды, подняв голову, я увидел при ярком солнце, что впереди лошадей нет дороги: уже заносило путь… Я был почти убежден, что нам предстоит участь «Хозяина и работника»… Глупым, кричащим голосом я спросил: «Да где же станция? Видна ли она?» Проводник, явно смущенный, жмурясь и склоняясь под ветром, отвечал: «Осталось две версты»… Вьюга так быстро усиливалась, что две версты казались вечностью. Мы могли потерять дорогу, да и лошади, пожалуй, станут… Ямщик хлестал свою пару, и мы уже перескакивали через сугробы. Показалась какая-то одинокая сторожка с красной железной крышей, но когда мы проехали мимо нее, опять пошла белая пустыня и ничто не обещало спасения… «О, если бы только добраться до Коби, – думал я, – и войти в станционный дом! Там я останусь жить»… И я опять нагнулся, закрыв глаза, безмолвно покоряясь снежной буре.

И вдруг проводник возвестил: «Сейчас приедем!» Через две-три минуты мы остановились. Это была станция Коби… Запуганный, почти потерявший надежду на спасение и сильно прозябший, я ввалился в буфетную комнату и выпил рюмку коньяку. Очевидно, что ехать дальше было невозможно. Что же делать? Послать депешу в суд о прекращении сообщения? Но, пожалуй, суд не отложит разбирательства, а если и отложит, то когда же придется вновь делать эту поездку? И сколько лишнего времени просидит подсудимый в тюрьме? Послезавтра заседание. Неужели возвращаться домой с таким досадным результатом? А с другой стороны: разве мыслимо подвергаться дальнейшим смертоносным прихотям этой ужасной горной цепи?..

Я уже серьезно решил, что буду ночевать в Коби и, не помышляя о Тифлисе, возвращусь домой при первом благоприятном случае. С тоскою осматривал я узенькую комнату станции, где предстояло устроиться на ночлег. Я нервничал, пил чай, упрямился в своем решении не двигаться дальше и в то же время приходил в безутешное уныние, что все это так сложилось.

Смотритель станции, загорелый старик в поношенном мундире, добродушно меня успокаивал и утверждал, что, по его мнению, сегодня можно сделать перевал через горы. Он сообщил мне, что здесь же, в нескольких шагах от станции, как раз в настоящую минуту, собирается в дальнейший путь начальник Военно-Грузинской дороги – инженер Сипайло, который хочет своим примером ободрить публику, ожидающую сообщения по той стороне хребта. Как же не воспользоваться этим случаем?

Я возражал, что снежная буря, сопровождавшая меня при переезде до Коби, не предвещает ничего хорошего. Но смотритель и буфетчик объяснили, что «в горах» не будет ветру. «Где же это в

горах? – думалось мне. – Разве я еще до сих пор не в горах?»

Но мне предложили пройтись за угол станции и убедиться, что там тихо. Я вышел на воздух и увидал толпу осетин с салазками для перевоза. Эти худощавые брюнеты имели чрезвычайно юркий вид. Их веселые лица и горячие переговоры с моим проводником как-то приохочивали меня пуститься в дорогу. Притом и метель, по-видимому, рассеялась или исчезла где-то позади, в той лощине, в которой мы путались, подъезжая к Коби. За углом станции действительно было тихо. И погода была солнечная. Даже будто теплее сделалось.

Я предоставил проводнику условиться с осетинами насчет платы. Мы взяли трое салазок: одни для меня, другие для проводника, третьи для багажа. При каждых салазках, запряженных в одну лошадь, состояло по два осетина: один за кучера, другой – для подталкивания салазок сзади.

И я думал: что это за невероятная дорога будет, если нужны такие сложные приспособления?

Опасность предстоящего переезда заключалась в снежных обвалах, которые каждую весну случаются между станциями Коби и Гудауром. В нынешнем году период обвалов наступил ранее обыкновенного. Они стали обрушиваться как раз десять дней тому назад и не все еще грохнулись с вершин. Только вчера некоторые смельчаки перескочили через хребет. Сегодня начальник дороги делал первый опыт сообщения с Гудауром.

Мы уселись на салазки, и наш поезд тронулся по направлению к дому, где приготовлялся к путешествию инженер Сипайло. Подъехав к белой двухэтажной казарме с красной крышей, мы остановились.

Пришлось ожидать около четверти часа. Везде вокруг лежали высокие кучи снега. Мой кучер, молодой осетин с черной бородкой, был особенно радостно настроен. Он то и дело шутил и смеялся, оскаливая свои чудесные зубы. Ему, видимо, нравилась поездка с начальником. Он говорил по-русски, хвалил свою лошадь и надеялся, что все обойдется благополучно. Извозчики и рабочие из туземцев обменивались замечаниями, которых я не понимал. Меня разбирало нетерпение, потому что я тревожился за погоду. Наконец вышел седой, румяный и плотный начальник дороги в инженерном пальто. Мы познакомились. Он был чрезвычайно бодр и приветлив. Усаживаясь на свои салазки, он засмеялся и сказал мне: «Ну, погибать, так вместе!» Конный черкес поскакал впереди. За ним двинулись салазки г-на Сипайло, а за его спиною поехал я с моими двумя салазками позади.

Оказалось, что, проехав несколько саженей от казармы, мы

очутились в очень узкой траншее, прорытой в глубочайших снегах. Двигаться в ней можно было только шагом. В ней едва умещались салазки. Моя шинель задевала снежные откосы. Глубина траншеи была так велика, что поверх нее чуть выдавалась шапка передового конного черкеса. Мы не ехали, а ползли столь же медленно, как переступавшие позади нас пешие осетины. Поэтому вместо полутора часов езды до Гудаура нам предстояло потратить на переезд часа четыре. И в течение этих четырех часов каждую секунду мы могли погибнуть, потому что мы двигались в самой середине таинственного и неумолимого царства облаков. Известно, что обвалы всегда возможны именно здесь, среди этих самых гор, после тех метелей, какие были во все предыдущие дни, и после того, что целая серия знаменитых обвалов – «Майорша», «Почтовый» и т. д. – уже низверглись, а некоторые еще сидели на вершинах, ожидая только неведомого предлога, чтобы обрушиться. Странное это чувство – ощущать ежеминутную возможность казни! Внутри не было страха, а была какая-то угнетенная присмирелость. Я даже невольно ушел головою в плечи и только посматривал вокруг исподлобья. Я уже сказал, что мы тащились по дну глубокого и узкого снежного коридорчика. Все белело ослепительно. Было ясно и тихо. Вверху виднелось синее небо. Минутами легкое дуновение отделяло чуть заметную белую пыль на зазубринах высоких и крепких снежных стен, замкнувших нас в тесную длинную яму. Я допытывался от своего кучера, где же наиболее опасные места. Он указал кнутом вперед и вверх: «Вот, как начнем подниматься… Потом свернем направо через мостик. Там все обвалы»… И он это говорил с тою же бодрою улыбкою.

Шествие продолжалось очень медленно. Количество снега все увеличивалось. Поверх траншеи виднелись белые отвесные бока разнообразных гор, не особенно высоких, но чрезвычайно близких к нам.

В движении нашего каравана вскоре почувствовался подъем на высоту. Случалось, что лошади вдруг останавливались, и тогда салазки сдвигались с места лишь после сильного толчка сзади наших проводников. «Значит, – думалось мне, – наступает самое худшее…» Я еще более съежился. Мы ныряем в громадных глыбах снега, разрытых и нагроможденных вокруг. Это и были те обвалы, которые заполнили собою всю ложбину в предыдущие дни. Мы карабкались по их гигантским, неподвижным телам. Но есть еще много живых, висящих над нами… И ничто не ручается за то, что вот-вот сейчас какой-нибудь новый обвал не скроет нас под собою на такой же глубине, на какой лежит теперь под нами исчезнувшая почтовая дорога… Все снег да снег… Кажется, будто

ничего другого нет в природе, ничто иное не нужно в жизни, кроме снега! Даже как-то мутило от этих чрезмерных и нескончаемых снежных масс! А солнце светило великолепно. Но к добру ли это? Ведь лишний жаркий луч на вершинах может сию секунду оторвать убийственную лавину…

Наш медленный проезд совершался теперь в каком-то мрачном молчании. Постепенно мы сворачивали вправо и наконец въехали на маленький железный мост, о котором говорил мой осетин. Здесь он указал мне на один из горных отвесов, ничем не отличавшийся от других, и проговорил: «Майорша!»…

Через мост проехали благополучно.

Тогда я спросил осетина: «Ну, теперь кончено?» Он засмеялся и ответил: «Теперь будет все лучше». Я забыл сказать, что уже около часу мы встречали в разных местах на пути красные флаги, воткнутые в снег, предварявшие от особенной опасности. Эти-то флаги продолжали мелькать и по ту сторону моста. Но вскоре мы, участники поездки, начали понемногу оживляться. В одном месте путь был завален осунувшимся снегом. Лошадь передового черкеса нырнула в него по грудь. По ее следам промчался начальник дороги на своих салазках. И когда он очутился по ту сторону сугроба, то, стряхивая снег, облепивший его пальто, он с хохотом крикнул мне: «Вот путешествие!» И все это происходило под синим небом, в тихом воздухе, при ясном и даже греющем весеннем солнце…

Наш караван подвигался уже гораздо быстрее. Все между собою разговаривали и, видимо, в нашей судьбе готовилась какая-то благоприятная перемена. Постепенно салазки замедляли ход, начальник отдавал какие-то приказания, и вот мы все остановились. Везде вокруг стеснились разнообразные вершины совершенно белых гор. Я спросил: «Что будет?» Кучер объяснил: «Мы доехали до Креста. Теперь проводники будут отпущены». И он мне указал на белый конус – ниже прочих гор, – на котором был водружен каменный желтоватый крест. Мы были у подножия Крестовой горы, или Гуд-горы, как она называется у Лермонтова. Указанный мне крест поставлен недавно, по желанию местного населения. Он высится на одном из холмов гораздо ниже самой вершины горы, где стоит еще и поныне (невидный сегодня) Ермоловский крест.

После расчета с проводниками мы поехали быстро под гору. Воздух становился мягче, путь просторнее. Следы полозьев блестели на солнце. Расчищенные сугробы мельчали и отодвигались в сторону. Начиналась обыкновенная вольная дорога. Снег получал голубоватый оттенок вечера. Мой осетин

торжествовал. Он ехал весело и лихо. Я не торопился радоваться, потому что красные флаги еще не исчезли. В двух местах мы проехали под широкими деревянными галереями, устроенными в виде тунелей вплотную возле горных стен. Здесь тоже были смертоносные «осовы» снега. Но вот мы выбрались из последней галереи, и вблизи показалась станция. Через несколько минут мы уже были в Гудауре.

Было пять часов вечера. Перевал совершился!

В столовой станции, озаренной низким солнцем, теснилась тесная толпа путешественников, сидевших в Гудауре уже несколько дней в ожидании безопасного пути. Я застал окончание обеда. Все лица раскраснелись, гудел беспорядочный шумный разговор. На меня смотрели, как на образец неустрашимости. Все радовались, что настал конец сидению на станции, но весьма немногие решились ехать сегодня же в Коби. Я согревался горячими щами и кахетинским вином. На все расспросы я отвечал не иначе, как улыбаясь. Я был так счастлив, что мне даже хотелось смеяться. Теперь только, видя нерешительность и любопытство всех этих людей, я оправдывал себя за то пришибленное состояние духа, когда, ни о чем не думая, я склонял свою голову под обвалы… В течение четырех часов я слишком затерпелся в этом жутком чувстве, и меня теперь размывала чисто детская радость освобождения. Я дивился тому, где могла разместиться на маленькой станции вся эта публика, жившая в Гудауре целую неделю.

Но мой проводник торопил отъезд. Нам снова подали вместо салазок парные сани. Садясь в них, я оглянулся в ту сторону, где переживал страхи. Позади станции громоздились разнообразные вершины и поверх всего поднимались три широких каменных зубца, окаймленных суровыми, потемневшими облаками.

И мы бодро помчались вниз, к Млетам.

Чудный вид открылся совершенно неожиданно в нескольких шагах от Гудаура. Пред нами извивалась глубочайшая долина ослепительной белизны. Гладкие снежные откосы противоположных гор, казалось, уходили в присподнюю. Недвижный воздух. Мягкий февральский вечер. Необозримая панорама, покрытая лебяжьим пухом, с чуть заметным розоватым оттенком заката. Сердце билось от радости при взгляде на эту громаду простора, – на эти недостижимо далекие и в то же время будто совсем близкие снежные стены, которые так удивительно красиво, с таким божественным спокойствием уходили в бездну… Хотелось их целовать… В них было что-то радостно-живое, детски-милое и чистое. В трех-четырех местах, на разных высотах, небольшие купы чинар весело мелькали в этом необъятном и

нежном царстве снега. Эти редкие пятнышки состояли не более как из пяти-шести деревьев, стоявших рядком. Но каждое деревце казалось вам живым существом, посылающим свой привет и улыбку из чудного далека…

Я спросил, что это за место.

– Кайшаурская долина.

А! Здесь Демон влюбился в Тамару.

Дорога шла все вниз. Сани летели проворно. Долина расстилалась с возраставшею заманчивостью дивного простора. Она лежала на мирной ласковой глубине… Казалось, что с высоты неба видна жизнь земли… С этой высоты все представлялось прекрасным в той невинно-белой, куда-то упавшей вниз, очарованной стране…

Если Демон отсюда увидел землю, то понятно, что он

…позавидовал невольно
Неполной радости людей.

Там, внизу, было так хорошо!..

Справа зияла бездна, которую называют Чертовой долиной не от слова «черт», а от слова «черта», потому что здесь проходит черта между Осетией и Грузией. Но когда заглянешь в ту сторону, то действительно кажется, что там – преисподняя!..

Именно в той бездне совершается перелом горного хребта. Оттуда выбегает Арагва, которая отныне сменяет Терек, отошедший к своему истоку, куда-то на недосягаемые высоты.

Ровная светло-сиреневая тень уже облекала белую глубину, в которую мы быстро спускались. Узкая линия дороги ютилась под каменною стеною гор, наседавших над нею с правой стороны. Оттуда нависали громадные шапки плотного снега, готовые, казалось, завалить наши сани. Я невольно спросил: «А здесь бывают обвалы?» Мне сказали, что здесь уже никакой опасности нет. И вскоре внизу, как в белой колыбели, показались домики. Это – станция Млеты. Я думал о ночлеге после волнений и с радостью въехал во двор, где мы остановились перед двухэтажным зданием гостиницы, на берегу Арагвы. И в то же время, как мне шутя предсказывали в Петербурге, надо мною в туманном небе засквозила луна…

Я не мог опомниться от счастья, что кошмар сегодняшнего утра так благополучно разрешился. Мне отвели в верхнем этаже хорошенькую комнату с белыми обоями в розовых цветочках и красными занавесками. Молодой грузин, в черном коленкоровом казакине с белыми крапинками, устроил мои вещи в номере. Я велел ему подать мне чаю и приготовить постель, а сам прошел

через «царские комнаты» посидеть на деревянной галерее, выходящей на Арагву. В глубокой тишине, при тусклом месячном освещении, Арагва не то, что шумела, а как бы нежно шуршала в своем каменистом русле. По той стороне поднимались высокие, прямые горы, покрытые мелким лесом. Все вокруг было так дико, так мирно и так печально…

Но трудно было предаваться мечтаниям. Я устал… А назавтра нужно было подняться в четыре часа утра, чтобы поспеть засветло в Тифлис.

Когда я проснулся, было чудесное утро. Предсказывали жаркий день. Выезжая из Млеты, я увидел уходящую вперед широкую долину Арагвы в красивой панораме белых гор, испещренных черным лесом. Было светло и морозно. Восходящее солнце быстро согревало воздух. После непродолжительного спуска мы уже ехали почти по ровной дороге, окруженные грандиозными изломами грузинских гор. Веселая прелесть пейзажа радовала зрение. Арагва бежала узкой лентой. Она по размерам и форме напоминала Терек, но шум ее был гораздо мягче. Долина тянулась вперед прямо, без всяких поворотов. Я оглянулся назад: грозные вершины перевала совсем исчезли под гигантским клубком бело-сизых облаков. Этот клубок как-то странно и одиноко торчал среди ясного неба. И я с облегченным сердцем отвернулся от его дымящихся очертаний…

Нельзя было сомневаться, что погода будет великолепная. На протяжении двух станций подряд (Пассанаур и Ананур) нас сопровождали белые и красивые, постепенно понижающиеся горы, покрытые обильным, еще безлистым лесом. Небо оставалось безоблачным, солнце грело все сильнее. В Анануре мы покинули Арагву и свернули куда-то вправо, в холмистую местность, среди которой была станция Душет – крошечный городок, где, как известно, хворал Пушкин. Не знаю, где он мог тут приютиться. Разбросанные бедные сакли, да еще два новых красных здания, вроде небольших заводов – вот и вся панорама Душета. Отсюда мы поехали уже на колесах в Цолкан, потому что снег сделался совсем тонким, а от Цолкана пошла уже жидкая грязь по широкому кремнистому шоссе, и горы до такой степени исчезли где-то в стороне, что, казалось, мы едем среди обыкновенных полей. Становилось почти жарко. Еще через полчаса появились желто-каменистые, безлесные и невысокие горы, разбросанные со всех сторон. Открылся маленький город Мцхет – старинная столица Грузии. Я увидел каменную церковь с восьмигранной башней, небольшую кучку построек и голые хребты таких же желто-каменных гор на горизонте, а на вершине самой выдающейся горы против Мцхета – одинокое здание монастыря.

Здесь было слияние Арагвы и Куры. «Это „Мцыри“», – подумал я…

Солнце парило. Я распахнул шинель. Под ногами была сухая желтая земля. Мне запрягли лошадей, а между тем по ту сторону бурливой и мутной Куры я увидел в этом диком крае цепь вагонов – поезд на Баку. Мы уже, очевидно, выбрались из пустыни к населенным и удобным для жизни местам.

Направляясь к Тифлису, я проезжал по ровному шоссе. Те же невысокие каменистые горы где-то в отдалении заполняли горизонт. Близ дороги попадались виноградники. Замелькали редкие пригородные здания – одинокие «духаны», т. е. кабаки с кахетинским вином, затем другие постройки, – и вот уже запестрел город, нечто «губернское», похожее на обыкновенную русскую провинцию, с тою лишь разницею, что в уличной толпе было много смуглых людей в папахах и черкесках, и вообще всяких восточных оборванцев, да еще то, что каменистые горы отовсюду виднелись вокруг. Загремела скверная мостовая и вскоре, после множества прочитанных мною вывесок, мы остановились в центре города, среди наилучших зданий, на Головинском проспекте, у подъезда гостиницы «Hôtel d'Orient». Гостиница эта, содержимая настоящими французами, оказалась внутри неожиданно элегантною. Мне были заготовлены две очень высокие комнаты, убранные с истинною роскошью и вкусом: в гостиной толстый ковер на всем полу, тюлевые занавеси на окнах и бронзовая люстра, а в спальной кретоновые драпировки, белый мраморный умывальник с зеркалом и широкая металлическая кровать с превосходными матрацами. Все обстановочные вещи были свежие, изящные, комфортабельные. Лакей был приличный, в хорошем фраке и чистом белье. И все это казалось мне вдвойне удивительным после отчаянного ныряния на узеньких салазках в смертоносных снегах Гудаура.

Я сбросил шинель, башлык, фуфайку, чевяки, снял шерстяные чулки, переоделся, дал знать родственникам подсудимого о своем приезде и вышел на улицу в пальто к ближайшему парикмахеру.

На тротуарах Головинского проспекта толпились гуляющие. Солнце садилось. Было сухо и свежо. В парикмахерской я впервые заметил, что у меня нос и щеки под глазами (т. е. вся часть лица, не закрытая башлыком во время перевала через хребет) были сильно обожжены солнцем. Ощущалась явственная боль кожи на всем этом пространстве при малейшем движении личных мускулов. Мне посоветовали намазать болящие места жиром и объяснили, что этот неприятный загар всегда приключается в горах, когда солнечные лучи действуют на кожу, отраженные громадным количеством ослепительного снега.

Неутешительные вести ожидали меня, когда я возвратился в

свой номер. Другой брат подсудимого (не тот, который приглашал меня в Петербурге), застенчивый молодой человек, только что окончивший курс и записавшийся в помощники присяжного поверенного, встретил меня с тревожным лицом и сказал, что суд, по-видимому, намерен быть беспощадным. Отчасти я это сам предвидел, зная по сенатским делам систему Тифлисского правосудия. Но я еще верил, что сумею передать суду мое понимание этого печального случая. Было решено, что я повидаюсь с арестантом завтра утром в здании суда, перед открытием заседания.

Когда на следующий день я вышел с портфелем на улицу, то почувствовал себя довольно бодрым. Воздух был холодный, но это была горная свежесть, а не гадкий студень петербургской низменности. Здания Головинского проспекта, вблизи моей гостиницы, были лучшие в городе: собор, дворец, театр, музей и т. п. Ни одно из них мне не нравилось, но все они были большие, парадные. Вся противоположная линия проспекта ютилась под голою горою св. Давида. И когда я сквозь эту линию должен был прорваться, чтобы свернуть в направлении к суду, то пришлось подниматься по узким переулкам в гору. В одной из коротеньких нагорных улиц и помещалось здание судебных установлений. Оно было просторное, с новыми мозаичными полами и светлыми залами. В отделении Окружного суда уже толпилась публика.

В комнате для арестантов я познакомился с моим князем. Это был совсем юный блондин, еще румяный и цветущий, но уже пришибленный тем глупым несчастьем, в которое он попал. Я видел, что невиновность сквозила в каждом его слове и что тем труднее было для него, при врожденной неловкости и нетароватости, как-нибудь это выразить и убедить в этом других… Мне становилось за него страшно и больно. Судьи редко понимают таких подсудимых.

Зал заседания наполнялся. Публика пестрела черкесками всех цветов и грузинскими костюмами женщин, из которых ни одна не выделялась красотою. Низкие шапочки из черного бархата, с коротенькими покрывалами из белой тафты, однообразные гладкие прически, прямые носы, смуглые лица, – все это имело довольно скучный вид. Пришли на свои места защитники других подсудимых. Мы познакомились, обменялись сдержанными улыбками. Я прошел в судейскую комнату и представился членам суда. Это были приятные в обращении люди, а председательствующий даже веселый и беспечный седой старичок. О деле, понятно, мы и не заикались, а говорили о вещах посторонних. Суд был заинтересован моим переездом через Гудаур. Я жаловался на беспокоившую меня боль в щеках от

загара. Прокурор, мрачный пожилой человек, стал мне объяснять по-научному это явление.

Наконец все было приведено в порядок, и началось заседание. Не стану воспроизводить подробностей процесса. Хорошо осведомленные товарищи мои предсказывали одинаковую неудачу для всех, при ком было оружие. Так и случилось[1]. Трое вооруженных (в том числе и мой князь) подверглись четырехлетней каторге, а четвертый, безоружный (один из прежних писцов Судебной палаты), обвинен только в недонесении и присужден к аресту. Заседание окончилось к пяти часам. Родные подсудимого поняли, что я исчерпал все, чтобы отстоять справедливость. Во мне осталось глупое и тупое чувство вполне правой и вполне бесплодной борьбы. Впереди была жалоба в палату и второй приезд в Тифлис. О палате говорили, что она бывает обыкновенно еще суровее, чем суд. Но все равно: будущее обрисовалось бесповоротно. Князь, в недоумении, раскрасневшийся и плохо соображавший наступившее несчастье, робко пожал мою руку и пошел обратно в тюрьму, вместе с другими осужденными. Я уверен, что его поддерживала в эту минуту лишь участь его товарищей, хотя об их вине он ничего верного не знал, а знал только о своей невиновности.

Публика расходилась. Адвокаты остались мною довольны, ввиду трудности моего положения. Самый почтенный из моих собратьев по защите пригласил меня запросто у него пообедать. Это был сухощавый, высокий и стройный старик, вышедший уже давно в адвокатуру из членов Судебной палаты. В нем чувствовался либеральный и порядочный дворянин-шестидесятник. Его домашняя обстановка оказалась весьма жизнерадостною и симпатичною, хотя и несколько «нелегальною»: он жил по-супружески с молодою цветущею женщиною, – как говорится, «русской красавицей» (чуть ли не из актрис), – и имел от нее маленьких детей, которые составляли его радость и гордость. Жена его, хронически больная старая женщина, проживала в Петербурге, где у нее были родные. Она сохранила с мужем спокойно-приятельские отношения, поддерживаемые необходимою перепискою и редкими свиданиями в случае приезда мужа в Петербург по делам.

За длинным овальным столом уселось человек пятнадцать. Обед был хлебосольный, с обильными закусками и кахетинским. Хозяин (клиент которого тоже угодил в каторгу) был, как и я, угнетен приговором. Он даже и на палату не надеялся.

К концу обеда понемногу мы как бы «покорились судьбе». И я вдруг с особенною ясностью увидел, что мне снова надо перебираться через Гудаур… Теперь уже предстоит возвращаться

домой, а между мною и моим домом еще висит зловещая бездна… Я отрезан от своих и, Бог весть, доберусь ли благополучно до них! Тревога боролась во мне с усталостью, и я решил, что завтра придется передохнуть в Тифлисе, чтобы выбрать наилучшую дорогу для возвращения. Мой любезный хозяин пригласил меня к обеду и назавтра.

Следующий день прошел довольно бесцветно. С утра я был занят печальными разговорами с родственниками осужденного. Мы обдумывали жалобу и неопределенно рисовали себе будущее, как водится, цепляясь за надежду. Брат осужденного настаивал на моем вторичном приезде. Я не отказывался, потому что верил в правоту дела.

Обед у моего вчерашнего товарища по защите на этот раз был оживленнее. Гостей было столько же, но встретились и некоторые новые лица. Я чувствовал себя среди добрых, простых и расположенных ко мне людей. Заговорили о том, какою дорогою я намерен возвращаться. Многие советовали ехать на Новороссийск, чтобы избегнуть обвалов. Никто не ручался за безопасность Военно-Грузинской дороги. Весна еще и не начиналась, а в это именно время каждый день может принести катастрофу. В этом отношении горы прославились своим непостижимым коварством. Меня даже называли просто безумным за то, что я еще не отказываюсь от мысли снова переваливать через хребет. Но поездка через Новороссийск сказывалась тоже весьма мучительною, да и кроме того, чрезвычайно долгою. Был риск трепаться несколько суток по морю, которое теперь чрезвычайно бурно, а я не переношу качки… Как я томился от всех этих известий! Каким несчастным и беспомощным казался я себе! Но все-таки я предпочел ехать через Гудаур.

И я проделал в обратном порядке всю Военно-Грузинскую дорогу. Ранним солнечным утром выехал я из Тифлиса в коляске четвериком, с тем же величаво-глупым грузином на козлах. Пестрый и раскидистый каменный город весело мелькнул передо мною. Потянулось желтое сухое шоссе под сенью невысоких гор. Начиная с Мцхета, в очень большом отдалении, заклубились легкие облака одинокою небольшою кучкою, только над одним Гудауром, среди совершенно ясного небосклона. В течение целого дня наш путь медленно и скучно поднимался. Стемнело, когда мы добрались до Пассанаура. Осталось два часа до ночлега в Млетах, куда я затребовал телеграфный ответ из Коби насчет состояния дороги на перевале. Пока запрягали лошадей, я разговаривал с начальником станции. Он сообщил мне, что расчистка пути продолжалась беспрепятственно во все эти дни; по его мнению,

погода назавтра будет хорошая, и ею необходимо воспользоваться в Млетах спозаранку, чтобы до полудня «проскочить через Гудаур», потому что затем, пожалуй, наступит внезапная перемена. А перемена опасна, возможны еще дальнейшие обвалы. Обвалы особенно пагубны в туманную погоду. Шум падающей глыбы слышен издалека, и при ясном небе можно уберечься, потому что вместе с шумом показывается снежный вихрь на той вершине, с которой низвергается глыба. Правда, в горах есть сторожевые посты, и одновременно с угрожающим грохотом снега всегда звонит набатный колокол, но при тумане путник не знает, в какую сторону бежать… Поэтому следует дорожить часами, когда светит солнце.

Я прохаживался с моим собеседником в потемках и в свежей тишине, при шуме Арагвы, под черным гребнем отвесных гор на противоположном берегу. Экипаж был уже готов, и мы простились. Когда я садился в коляску, вдруг раздался где-то в вышине пронзительный и долгий – казалось, человеческий – плач. Я спросил у ямщика: «Что это?» – «Это чикал». А! вот он – лермонтовский шакал…

В Млетах я застал успокоительную депешу, мирно переночевал, и на другой день, при ясной погоде, – за которую ежеминутно потрухивал, – с радостью проезжал через опаснейшие места между Гудауром и Коби.

Путь на перевале был неузнаваем. Четыре дня, свободных от метелей, дали возможность рабочим сделать чудеса. Мы свободно проезжали в парных санях там, где прежде с трудом ныряли в салазках. Уровень дороги настолько понизился, что лишь теперь я мог судить о гигантском наросте снежной массы, – о целой космической горе обвала, под которою был погребен когда-то, на страшной глубине, обычный проездной путь. Такое снежное чудовище могло бы, пожалуй, задавить целую деревню, а не то что каких-нибудь жалких путешественников… Рабочих было множество. Везде, по краям правильной дороги, чернели бодрые фигуры в тулупах, с лопатами. Снег был крепкий, ослепительный, покоренный и, по возможности, примятый в стены, кучки, пирамидки и т. п. Как-то и в воздухе, и в этих людях не чуялось уже никакой беды. Фатальный мост (где прежде указывался центр обвалов) мы переехали свободно и весело, без всякой тревоги. А когда мы приближались к Коби, то снег был уже так далеко отброшен от дороги, что здание, откуда вышел ко мне инспектор пути, среди глубоких белых траншей, – мелькнуло где-то в стороне, на самой обыденной равнине.

Станция Коби. Мы спасены! Погода прекрасная.

Тот же начальник станции, загорелый старик с турецкой

фамилией, в поношенном мундирчике, беседовал со мною, пока запрягали лошадей, об ужасе обвалов. Его добрые темно-синие глаза были преисполнены страдания при воспоминании о том, что ему приходилось видеть и переживать.

«Это невозможно, – говорил он. – Это нужно было бы непременно как-нибудь совсем устранить. Ведь каждый год об эту пору всегда случается то же самое! Надо бы на это время совсем закрывать эту дорогу. Обвал… он уродует человека. Страшно смотреть на покойников: язык высунут изо рта до середины груди. Когда идет обвал, то с земли поднимается ветер и подхватывает людей вверх. И вот тут уже смерть, как только подняло человека на воздух… А потом, Бог весть еще когда откопают в снегу таких изуродованных мертвецов. Да, этого нельзя терпеть… Это нужно как-нибудь…»

Старик замолк, оглянувшись на подъезжавшие, готовые для меня сани. Его серьезное лицо приняло выражение приветливой улыбки. Он пожелал мне доброго пути, и я крепко пожал его руку.

И вот я отъезжаю по совершенно свободной и «безмятежной» дороге – там, где несколько дней тому назад наш ямщик с отчаяньем хлестал своих лошадей, чтобы не утонуть в снегу и не ослепнуть от метели… Переезд до Казбека закончился к полудню. Подъезжая к станции, я имел случай ясно видеть знаменитую гору – этот гранитный монашеский клобук с пятнистым наростом льда и снега. Я узнал сразу акварель, виденную мною в столовой станции. Минуту спустя, тонкая белая кисея легкого тумана уже заслоняла очертания горы. Но и такая степень прозрачности воздуха вокруг вершины уже ручалась за хороший день.

Со станции я послал депешу домой о благополучном проезде. Я знал, что обо мне тревожатся, ввиду газетных телеграмм о сообщении с Тифлисом. Я немножко чувствовал себя героем… Из окна столовой я увидел в стороне Казбека прилепившийся к этой горе высокий снежный конус и на нем отчетливую черненькую часовню грузинской архитектуры. То был монастырь на Казбеке – «заоблачная келья», о которой мечтал Пушкин.

Спуск от Казбека мы уже делали на колесах. Дарьяльское ущелье, обозреваемое с высоты, было несравненно величественнее. Чудесно выступали разрезы его поэтических пропастей. Перед вечером мы подъехали к достопамятной станции Ларе, где я провел мучительную ночь под выстрелами бури. Теперь уже здесь не было ни снега, ни урагана. Правда, из ущелья, по обыкновению, тянуло ветерком, но это было только ласкающее течение воздуха, – не более. На дальнейшем пути к Владикавказу я вдруг заметил, что передо мною, в самом низу между гор, образовалось сплошное облако, белое, как вата. Оно

мешало смотреть в перспективу долины. Мне сказали, что это вечерний туман. Облако вскоре так поднялось и выросло, что незаметно наступила пасмурная ночь, и когда я приехал во Владикавказ, то застал в городе ровный, тихий дождь. Туземцы, впрочем, и раньше говорили мне: «Знайте, что когда у нас пасмурно, в горах ясно, – и наоборот».

Я заказал себе железнодорожный билет на завтра и переночевал в гостинице. Садясь на поезд, я узнал, что накануне вечером локомотив задавил машиниста, оставившего молодую вдову с детьми. На платформе я услыхал вопли маленькой кучки людей у вагона третьего класса. Они провожали вдову, которая отъезжала на промежуточную станцию, где ее ожидало мертвое тело…

Гибель от обвалов, гибель от машины! Никто не ведает своей участи – «и от судеб защиты нет».

Спустя четыре месяца, летом, я снова сделал поездку в Тифлис по тому же делу. Помню, в лунную ночь поезд приближался к Владикавказу. В вагоне, где горели только две стеариновые свечи, было темно. Из окна вдруг завиднелась вся цепь столь знакомых мне гор. Казалось, эта цепь стала отчетливой великой ступенью от земли к небу… Месяц светил над нею на таком расстоянии, будто и от гор до него рукой подать! Лунный свет озарял так явственно различные изломы хребта, что я как бы узнавал отдельные вершины, – угадывал, где кроется Казбек, припоминал всю линию предстоявшего мне пути среди этих громад. Темные зубцы с белыми извилистыми пятнами тумана – общая группа этих скученных гигантов – все это виднелось вдали, над плоской равниной, за определенною чертою, как нечто чуждое земле и отрешенное от нее своею недосягаемою величавостью. Прибавьте дивную тишину воздуха в степи, за окном вагона, в лунном сиянии.

Как жутко делалось на душе! Вся моя жизнь представилась мне такою мелкою, непонятною, жалкою… Вагон гудел, а серебряные великаны поднимались к небу, и месяц их оглядывал так любовно… Казалось, Творец все-таки где-то здесь – Он ближе к ним – к этим вершинам и луне – нежели к моему сердцу… И неизъяснимое мучение поднималось во мне. Надежда и тоска… Слезы подступали к горлу. И, прислонившись к открытому окну вагона, слушая грохот поезда в обширной и тихой степи, я невольно, с благоговением и скорбью, напевал молитвенно-ритмические строки романса:

По не-бу полу-ночи Ангел ле-тел…
Он ду-шу младу-ю в объ-ятиях нес

Для мира пе-чали и слез…

Язык немел от полноты чувства, голос пресекался… Я уже не произносил слов и не тянул мелодии, а только по звуковой памяти вздыхал на высоких нотах… Загляделся на горы, на небо, на луну – и замолк. Потом вынул спичку и закурил папиросу. Потом обратился в обыкновенного пассажира, подъезжающего к Владикавказу.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге на этот раз было слабым повторением прежних впечатлений. Зимняя дорога имела для меня больше заманчивости. Тогда я встречал тревоги и загадки. Теперь это была увеселительная поездка. Летом на хребте почти нигде не встречалось снега. Снежные полоски в морщинах гранита виднелись только на вершинах перевала. Леса украшали горы только от Владикавказа до Дарьяла, а затем уже после перевала, от Млет до Ананура.

Процесс окончился еще хуже, чем в первый раз. Палата утвердила приговор относительно осужденных на каторгу и, сверх того, присудила к тому же сроку каторги того безоружного обвиняемого, которого почти оправдал Окружной суд. В этот приезд братья моего князя особенно задушевно отнеслись ко мне. Они проводили меня за черту Тифлиса и поцеловались со мною на прощанье. Для них было ясно, что неправда этого глупого испорченного дела способна задавить все человеческие усилия к защите истины.

Возвращаясь из Тифлиса, я старался проверить на подъеме к Гудауру те описания дороги, которые встречаются в «Герое нашего времени». Я не узнал ни одной подробности. Дело объяснилось просто: оказалось, что прежний путь заброшен и остался в стороне. Жизнь непрестанно и незаметно разрушает… За свой краткий век люди никак не могут к этому приспособиться и каждый раз с досадою удивляются наступившим переменам. Помню, всего через восемь лет по окончании курса, я как-то приехал в Харьков и отправился посетить песчаный бугорок в роще, недалеко от бань, за Харьковским мостом, по Змиевской дороге, где я имел первое свидание с моей невестой. Я воображал, что мне удастся присесть на том же песочке, что я узнаю тот же холмик… Я не нашел ничего похожего и даже подумал, что прежнее место совсем исчезло… В роще были постройки. Я видел какие-то заборы. Вместо Змиевской дороги образовалась незнакомая бедная улица…

То же испытал я, заехав из Владикавказа на Минеральные Воды, куда я свернул ради Лермонтова. Кисловодск перестроен и

во многом отделан по-модному. В Пятигорске лечебный центр перенесен с верхней части города в самую ложбину. Место, где Печорин впервые увидел на водах, среди публики, княжну Мери, находится теперь в заглохшем безлюдном уголке Пятигорска, под Машуком.

Но более всего меня раздосадовал уродливый и жалкий памятник Лермонтову. Поэт сидит в виде сутуловатого, низкорослого и тупоумного гимназиста, с карандашом и тетрадкой в руках, среди тощего детского садика… Мне думалось, что Лермонтову следовало бы воздвигнуть колоссальную бронзовую статую среди самой цепи гор, в соседстве Казбека, – величавое изваяние, видное издалека, подобно статуе Победоносной Германии, царящей с открытой вершины над долиною Рейна. Ибо какие бы национальности ни населяли в будущем Кавказ, какие бы народы ни владели им, – он все-таки будет принадлежать Лермонтову.

Отрывки

По складу моего воображения, я принадлежу к поклонникам аристократии ума. Подобно Карлейлю, я был бы склонен выделить из человечества великие единицы гения и таланта, предав забвению и окрестив именем ничтожества все остальное. Кроме того, я легко поддаюсь обаянию декоративной обстановки, благодаря которой те или другие личности высоко выдвигаются над толпою на сцене жизни.

Мне, например, ужасно нравится, что императрица австрийская боготворит поэта Гейне и что она ему воздвигла где-то, в своей летней резиденции, изящный памятник. Я как-то невольно выделяю императрицу австрийскую из массы прочих дам. Мне вспоминается выдающаяся красота этой женщины в молодости, ее громадные дивные глаза на тонком овальном лице под роскошным венком тройной косы, с нитками жемчуга на лебединой шее, с печатью поэзии на всей ее фигуре. И в то же время я не могу отрешиться от мысли, что эту женщину украшают корона и порфира, что ее возвеличивает исторический почет долгого царствования. Я знаю, что она давно уже страдает нервною болезнью, наследственною в ее семье. Мне кто-то из очевидцев говорил, что теперь она – худощавая и чрезвычайно просто одетая дама. Ее недавно видели на одном из пароходов в Швейцарии, где она любит путешествовать инкогнито. Но каждый знал, кто она, и все наблюдали ее задумчивость.

И вот, с другой стороны, я склонен приравнять эту описанную

мне худощавую пожилую даму в ватерпруфе туристки, ко всем прочим путешественникам ее возраста, пережившим всяческие разочарования когда-то заманчивой жизни.

Точно так же и любимого поэта императрицы – Гейне – я готов признать не более как за даровитого и жалкого еврея, имевшего только счастливый случай «поведать миру» о своей душе, еврея тощего и беспомощного в своих недугах, как и все другие люди, – раздражительного, как все писатели, – и вот понемногу тускнеет тот ореол, которым я окружаю в своем воображении эти все фигуры, – и передо мною, из тысячи моих воспоминаний, возникают другие лица обоего пола, достойные удивления и, быть может, восторга, – лица, решительно никому неведомые, бесследно исчезнувшие, – и опять меня заливает волна духовного анархизма. И опять все люди – все крошки – все мелькнувшие в этом мире отдельные создания – мне кажутся равно великими.

1898 г.

* * *

Какая прелесть, при довольстве жизнью, навещать могилы знаменитых людей! Вообразите себя молодым, счастливым, да еще, пожалуй, в обществе хорошенькой и любимой женщины, – например, в Париже, во Дворце Инвалидов, перед саркофагом Наполеона 1-го или на кладбище Пер-Лашез, возле памятника Мюссе, – или в России, в селе Тарханах Пензенской губернии, в часовне, где погребен Лермонтов, или в церкви Спасского села Раненбургского уезда перед гробницей Скобелева. При входе вас обдает величием. Привлекательная тень встает пред вами такою, какою она некогда шевельнула ваше сердце и воображение. Вы умиляетесь перед ее благородным вечным спокойствием. Но вы при этом забываете, что вас только щекочет радость вашего собственного бытия! Вас пленяет лишь высокий строй вашей живой мысли; ваш ум играет, ваша фантазия преподносит вам тонкий десерт безотчетных и упоительных мечтаний. Вы знаете, что сейчас вы уйдете отсюда и пред вами засверкает солнце, что вы будете говорить и слушать, думать и двигаться, что у вас, про себя, таятся еще разные надежды на счастие в будущем… Вы уйдете, а кости останутся на своем месте: эти кости не всегда внушают такие думы случайным посетителям. Эти кости лежат в своем ящике неимоверно глупо. Возле них живет ленивый сторож. Когда нет публики, он подметает дорожку, проветривает церковь,

склеп и часовню, и ворчит, и коротает свои серые будни. А солнце золотит пыль свежего воздуха, и звуки недоступной жизни гудят издалека вокруг бесчувственной, узкой, наполненной серым прахом и несколькими косточками могилы. Жутко и скучно, а еще хуже, если на памятнике вырежут какое-нибудь изречение, какой-нибудь стих погребенного. Уж наверное, каждый посетитель пробормочет вырезанные слова, – на могиле Мюссе: «Mes chers amis! Quand je mourrai…»[2], или на монументе Некрасова: «Сейте разумное, доброе, вечное». Что, если покойники одарены тайным слухом? Какие проклятия посылают они своим случайно сказанным словам за этот вечный попрек посетителей, за их неумение сказать что-либо, кроме этих мучительно опротивевших, всегда тех же самых слов покоящегося под этим камнем писателя!.. Праздные мысли! Но что делать? Все мы так жалко созданы, что невольно смотрим на смерть с точки зрения жизни.

* * *

У Майкова сказано, будто смерть лишь тем страшна для нас, что нам все кажется, что мы не совсем, не разом умрем и что мы будем видеть свой труп, улыбку неподвижных губ, глаза с тупым зрачком и мух, ползающих по лицу, и содрогания родных, которые от нас отойдут в испуге, и что даже из земли сырой наш слух будет следить за резвою земною жизнью, и что между тем, как придет весна и запестреет луг, червь уже нападет на нас и будет нам поедать бока и щеки…

> «Но, смертный, знай, – утешает поэт, – твой тщетен страх:
> Ведь на своих похоронах
> Не будешь зритель ты!
> Ведь вместе с дружеской толпой
> Не будешь плакать над собой
> И класть на гроб цветы;
> По смерти стал ты вне тревог;
> Ты стал загадкою, как Бог, —
> И вдруг душа твоя
> Как радость встретила покой, —
> Какого в жизни нет земной – покой небытия!»

Какое ничтожное и фальшивое утешение! Каким образом, спрашивается, душа встретит покой небытия с радостью? Ведь до

последней секунды душа не будет знать, что именно она встретит, а когда затем наступит «небытие», то уже ровно ничего не будет, а следовательно, не будет и радости… Или – «На своих похоронах Не будешь зритель ты!» Да что же из этого? Если это и действительно так, то разве при жизни мы не знаем с самою ужасающею достоверностью, какой именно вид мы будем иметь на своих похоронах? И разве в одном этом сознании не заключается уже страдания самого живого, глубокого и ничем неустранимого?! Я знаю наверное, что умру. И когда я умру, то, быть может, еще в первую секунду (едва уловимую) моим близким померещится, что я испытал радость облегчения. Но уже в следующую секунду они испытают отчаяние. Они будут ходить, говорить между собою, будут видеть вокруг себя всевозможные домашние предметы и в то же время внутренне содрогаться от сознания, что все это потеряло для меня всякое значение, навсегда. Навсегда! – это слово – как страшный молот, пришибет их мысль… Откуда-нибудь взглянет на них мой портрет, где-нибудь между бумагами мелькнет мой почерк, и тогда все это покажется им непонятным призраком, угнетающим их до безумия! И они станут с растерзанною душою сожалеть меня. И я *уже теперь* страдаю от этого сожаления…

Между тем мое тело (якобы вкусившее радость покоя) возбудит в них новые, с каждым часом возрастающие страдания. Некоторая ничтожная теплота кожи и первая обманчивая естественность прижизненных очертаний – все это быстро исчезнет. Обмоют и начнут одевать меня – новые мучения! Сюртук или фрак, – в них я был живым, был в них одет, когда ездил в театр (что такое театр?!), делал визиты (что такое визиты?!), произносил речи (неужели я мог это делать?!) – и теперь эти одежды нужно будет натягивать на тупую неподвижную куклу. Сапоги… нельзя надеть их! И вот, башмаки – глупые гробовщические башмаки, столь чуждые воспоминанию обо мне – какие-то мягкие лодки, какой-то безличный товар, – вот что потребуется теперь для моих ног. А самые ноги? ступни? Разве в них теперь не сквозит уже лучистый веер костей?.. А затем – холод тела, чернота, одеревенелость и главное – лед, – лед там, где была мысль, – лед до самых мельчайших внутренних сосудов… Лед и мрак!.. И я опять страдаю заранее от этого страха и сожаления всех живых…

Но пройдут сутки, и на моем лице, на моем лбу, вокруг моих глаз и носа, на моих щеках и в очертаниях моей челюсти, на всем этом обозначится «печать смерти», – да, именно «печать» в том самом смысле, как прилагают свою печать люди, т. е. обозначится казенный и однообразный вензель или герб смерти: череп!..

Все убедятся, что я сделался ни к чему ненужным – и едва ли кто-нибудь из живых подумает обо мне словами поэта Майкова: «Ты стал загадкою, как Бог!»

* * *

В самом средоточии жизни поставлена смерть, как тарелка с ядом для мух среди комнаты, озаренной солнцем. Каждый, пьющий из чаши жизни, непременно со временем проглатывает какой-то дурман. Проглотит – и, как муха, тотчас же делается вялым, тупеет, перестает быть самим собою, кружится без толку, бьется и наконец опрокидывается на спину.

Природа почему-то всегда надевает умирающему повязку на глаза, как будто она препровождает парламентера через границу.

* * *

Все живое не может быть не только довольным, но даже цельным. Каждое живое существо заранее рассечено на две половины – на два пола. В этом отношении наиболее выразительны французское слово «sexe» – отсеченный, и русское «пол» – половина. Эти две половины тоскуют одна по другой, неудержимо стремятся одна к другой и наконец сливаются – и в те мгновения, когда они составляют одно целое, переживают мимолетное блаженство. Но затем эти неполные создания тотчас же распадаются снова, и непременно каждый раз, хотя бы в самой неуловимой степени, испытывают безотчетное раскаяние, стыд или грусть. И оказывается, что самое слитие их воедино было предназначено лишь для того, чтобы произвести на свет новых рассеченных надвое, неполных, недовольных.

* * *

«О, Неведомый! Скажи: почему дух мой вмещает в себе Вселенную, а мое тело ничтожнее, нежели тело глупого ворона, и стократ менее прочно, нежели состав холодного камня? За что? Почему со старостью остывают мои оболочки, затихает сердце, тускнеет зрение, замедляются шаги и разрушается все, чем я могу действовать, когда в душе моей остается сознание, что если бы только не эти воровские подкопы под мою сущность, то я (как случается видеть во сне) долетел бы до Тебя и сказал Тебе:

„Довольно этих вечных, притворных и невыносимых загадок! Я – это Ты! Откроемся друг другу. Рассеки наконец эту бесконечно тонкую, но неодолимую преграду, под которою нарывает и вздувается до безумных размеров мое чувство единства с Тобою! Так дальше нельзя. Люди отчаиваются. Люди касаются Твоих ступеней, – слепые, истерзанные до неистовства Твоим вековечным битьем их по темени. Мы молим о каком-нибудь перемирии… Или, быть может, лучше было бы впредь вовсе не создавать нас… Но если и это желание с нашей стороны глупо, то к чему же эта пытка? Ты Сам нас создал с проклятым требованием *причины!* Избавь хоть от этого. Освобожденные от причины, мы перестанем и проклинать и молиться“»…

О, слабые! Мы слышим неотразимое *«нельзя»* и, помотавшись из стороны в сторону, умиляемся перед таким ответом. Мы додумываемся до какого-то смертельного блаженства даже в безумных пучинах непостижимости…

* * *

На острове Мартинике вулкан Лысая Гора истребил в одну минуту город С.-Пьер с тридцатью тысячами жителей. Я дожил до этой исторической трагедии, превзошедшей Геркуланум и Помпею, – страшное событие, врезавшееся в моей детской памяти из учебников. И странную прелесть чуяла моя душа в этой катастрофе! Я даже как бы позавидовал жителям С.-Пьера.

Когда я учил катехизис Филарета, с тою полною верою, на которую способна только душа ребенка, я остановился на людях, доживающих до Страшного суда, как на самых счастливых. Никто из них не умрет. Их тела, без участия смерти, мгновенно преобразятся в то состояние, которое необходимо для будущей жизни. Я надеялся, что вся наша семья, все мои современники, все, кого я знал, – все вместе мы, не умирая, дождемся до конца мира. Пустая надежда! Уже все близкое вымерло… Как зрелый, а затем уже стареющий человек – я понял, что это были бредни.

Но вот однако же многое множество людей исчезло разом, вместе, и, очевидно, в том именно счастливом заблуждении, о котором я мечтал. И благо им.

Никто не боялся конца. Постепенно приближались потемки. Пепел, серый пепел, – тот мелкий прах, в который мы все обратимся, – сеялся на город, никого не устрашая. Он тихо вкрадывался в доверие живых. Обильный, упорный, – этот пепел все-таки, даже становясь невыносимым, казался миролюбивым и безобидным. Темно, удушливо, в высшей степени необычайно и

неудобно, но – не страшно! И вдруг затем, утром 8 мая, мгновенный залп, – и все погибли.

Величайшее проклятие человека – одиночество, обособленность каждого от других – даже самых близких!.. «Можно умереть рядом, нельзя умереть вместе» (не знаю – кто сказал). «Надо умирать одному самому» (Л. Толстой). И это самое тяжкое. И этого избегли жертвы вулкана.

Но можно ли так мало любить чужую жизнь, чтобы хоть на минуту пожелать общей гибели! Ведь там, в этой исчезнувшей груде людей, погибло столько надежд, красоты, юности!

А разве все это не гибнет среди нас ежедневно, без всякого участия вулкана? Вот вам безопасный, щеголеватый, ликующий, громадный город. Небось, как это мило и справедливо, что каждое утро развозят во все концы оторванных от всего живущего мертвых младенцев, девушек, юношей…

* * *

Гораздо легче понять безумие перед жизнью, нежели объяснить себе, как устроен автоматический аппарат, который поддерживает в нас равновесие, именуемое разумным, сознательным и нормальным состоянием.

Часть четвертая

I

И вот настало время, когда нет ни настоящего, ни будущего. Можно рассказывать только прошедшее. Писать по горячим следам впечатлений, как иногда удавалось прежде, теперь уже нелегко. Но и это состояние могло бы, пожалуй, уступить времени. Однако с каждым годом, даже с каждым месяцем, для нежности к минувшему требуется все большего и большего отдаления. А жизнь слишком явно и слишком быстро летит вниз. Столь видимое ощущение старости я выражал шутя своим близким словами: «Это было две недели тому назад… Помилуйте! Тогда еще я был щенком…»

Как передать психологию старости? И трудно, и скучно! В особенности – скучно для читателя. Помню, что в ранние годы я с острым любопытством желал заглянуть в душу стариков. Когда я стал цветущим юношей, я жаждал найти где-нибудь искренние и подлинные признания старцев: как они себя чувствуют, что в них осталось? Замечают ли они, что окружающая жизнь уже их «похерила»? Что молодежь их чуждается? Что их любезность к женщинам высмеивается? И почему они этого будто не замечают? И как это им не бросается в глаза?

Очень просто. Никто в глубине души не мирится со своей старостью. Каждый цепляется за остатки ощущений, как за нечто вполне похожее на прежнее. И если бы зеркала были совсем истреблены, то этот горестный самообман дошел бы до непостижимых нелепостей.

Впрочем, все окружающее заставляет вас понемногу убеждаться, что вы действительно предназначены к удалению из жизни. Вокруг вымирают все, кого вы знали. Получается обширная нива, побитая градом. Делается стыдно за свою жизнь, за свои годы. Переживаешь сверстников, товарищей, всех крупных людей своей эпохи, – видишь гибель пленительных молодых созданий, – собираешь в душе целый мир ушедших жизней, – примечаешь тот особый почет, который достается только инвалидам, уже имеющим свое прошлое, но безвредным для настоящего. Труднее двигаешься, меньше порываешься к делу.

А этот поздний почет и позднее доверие даже как-то коробят! Почти все ваши просьбы уважаются. И каждый раз будто слышишь за своею спиною:

«Воля *покойного* священна!»… Вам уже всегда пишут «глубокоуважаемый», точно вы уже глубоко зарыты под землею.

II

За всю мою жизнь я ни от кого не видел к себе столько неизменной, глубокой и всепрощающей нежности, как от Урусова. С годами его любовь обвивала меня все крепче и, наконец, я сделался его исключительной прихотью, его открытою слабостью, его привилегированным другом.

И это мне представляется чем-то просто невероятным после того, как я припоминаю себя в студенческое время. Имя Урусова уже гремело тогда на всю Россию. Проживая в Харькове, откуда еще не было железной дороги до Москвы, я и не мечтал когда-либо встретиться с этой знаменитостью.

Но прошли годы, и все устроилось чрезвычайно просто. Блестящий всероссийский адвокат вскоре оборвался на политическом процессе Нечаева. Его уличили в передаче запретных писем за границу и сослали в Венден, близ Риги. Он съежился, женился на немке, сделался отцом и, окончательно потеряв прежний заработок, кое-как перебивался. О нем замолчали. Новые судебные ораторы выступили на сцену; жизнь торопилась вперед; пришибленный Урусов стал помышлять о каком-нибудь выходе к лучшему существованию. У него были связи; его талант был еще в памяти у всех, – и вот ему дан был выход: для испытания ему предложили выступить не в протестующей роли защитника, а в охранительном звании товарища прокурора, и притом, не в русской столице, а в городе второстепенном и дипломатическом, – в Варшаве. Из Варшавы он был переведен в Петербург, почти одновременно с моим выходом в адвокатуру. После дела Веры Засулич петербургский прокурорский надзор как бы сразу обанкротился: Жуковский и я – ушли; председатель по уголовным делам Кони, недавний популярный обвинитель, был сослан в Судебную палату для разбирательства гражданских дел. Понадобился влиятельный официальный оратор. Нельзя было найти никого, кроме Урусова.

Мне помнится день, когда я его впервые встретил на прокурорском коридоре. Он мне показался неожиданно старым. Это был полный плечистый мужчина, с большим лбом, с плоско причесанными, почти седыми волосами, с крупным вздернутым носом, легкою бородкою вокруг четырехугольного лица, веселыми глазами, светившимися из-за золотого pince-nez, и приятною, баритонною, очень развязною речью.

Знакомство постепенно переходило в дружбу, нас отчасти соединил Кони, знавший Урусова еще по Москве, близкий в то время к моему дому и находившийся в опале. Развенчанный

адвокат, развенчанный обвинитель и, наконец, я, товарищ прокурора, перешедший фатально в присяжные поверенные, – мы составляли естественную компанию. Кроме того, мы все трое тяготели к литературе. Наш разговор всегда был живой, необычный, нервный, интересный. Служба и профессия – мы это чувствовали – были как-то ниже нас.

Урусов казался поистине жалким в роли чиновника. Старенький шитый мундир с упругим воротником и металлическими пуговицами ужасно не подходил к его размашистой широкой фигуре. Жалованья ему не хватало. Он часто бывал стеснен в расходах, но всегда неизменно весел.

Впрочем, испытание длилось недолго. Года через два-три (в точности не помню) Урусова снова пустили в адвокатуру.

Неприметно я сближался с этим выдающимся человеком. Как ни странно, Урусов был одним из самых мечтательных людей своего времени. Казалось, все говорило против этого: адвокат, видный и не особенно разборчивый, с внешней стороны как бы практичный и бережливый. А в сущности? Блестящая даровитость, беспечный взгляд на жизнь, пленительный юмор, а затем – упоение легкими радостями существования, с сознанием нашей преходимости, – упрямый научный позитивизм с отрицанием Бога ради свободы – и вместе с тем преклонение перед красотою во всех ее формах и всеподавляющая страсть к литературе и поэзии.

За долгие годы нашей близости я теперь затрудняюсь определить и припомнить, какие именно мелочи повседневной жизни неприметно, при наших встречах, завлекали Урусова в какое-то исключительное, любвеобильное пристрастие ко мне. Кажется, начало его увлечения вызвано было моими стихами. Должно быть, в них было для него нечто индивидуально приятное. Вероятно, я чем-то случайно угождал его вкусам. После напечатания моего стихотворения «Мрак», Урусов, завидев меня издалека в коридоре гражданских отделений, куда он пришел в мундире для дачи заключений, – подбежал ко мне и, взглянув на меня с особенною нежностью, проговорил: «Да! После этой вещи ты должен себя чувствовать счастливым»… Конечно, я не понимал своего счастья, но эта неожиданная похвала радостно взволновала меня. Далее, например, в стихотворении «Май» Урусов находил необыкновенную прелесть в строке

Плодотворение, истома, поцелуй.

Он видел в этих словах особенную музыку, какую-то пленительную для него волну звуков, образуемую одним только

сочетанием этих трех слов подряд, сообразно их длине и распределению гласных. Он многим повторял этот стих с расстановкою:

– Плодотворение… истома… поцелуй…

Но никому не умел втолковать, что ж тут особенного! И в том же роде были все его прочие комментарии к моим стихам. Я упорно уклонялся от его похвал, а он так же упорно продолжал их твердить, что доказывается нашей перепиской. Впрочем, все, кто был сколько-нибудь близок ко мне, знают, до чего я искренно отрекался от своего стихотворного сборника. Я его напечатал вторым изданием только потому, что в нем есть пережитое, есть «стихи моего сердца», есть попытка рассказать себя, но как нечто гармоничное, вполне достигнутое и достойное искусства, – я его и теперь отрицаю. И, конечно, не слабость Урусова к моим стихам упрочила нашу близость. Было нечто другое.

Ни в ком из людей, с которыми приходилось мне встречаться, я не чувствовал такого оригинального превосходства над общим уровнем, такой свободной и естественной приверженности ко всему прекрасному, как в Урусове. В нем удивительно сочетались обожание жизни и отрицание Бога, восхищение природою и равнодушие к смерти. Все друзья окрестили его «эллином» – редкостным мудрецом, любившим с детским доверием «радости бытия». Он был добр и чувствителен. Но юмор, внутренняя бодрость и способность к шутке никогда его не покидали. Вспышки негодования и сарказма вырывались у него красиво и ярко, но – скорее, как проявление артистического темперамента, чем из глубины сердца. Он легко смягчался и редко упорствовал, – если только дело не касалось его капризных и сильных увлечений в области искусства. В таких случаях он был неумолим и отдалялся от противника, как от ничтожного человека. Внутреннее отчуждение от таких людей держалось в нем очень упорно. Кажется, больше всего он любил книги. Он говорил: «Произведение слова – это единственный вид бессмертия. Один стих может пережить целый народ». Он постоянно ведался с букинистами и откапывал разные курьезы. Его часто пленяли «человеческие глупости» («les bêtises humaines», до которых был охотник и его кумир Флобер). Когда Урусов собирал у себя друзей, он угощал их за ужином, в виде десерта, чтением разных добытых им нелепостей, и, читая их, блаженно смеялся до слез… В какой-то безвестной поэме он восторгался описанием героини, о которой автор говорит, что у нее при дыхании

Грудь поднималася высоко

И опускалась каждый раз…

В стихотворении другого автора, «Давид и Голиаф», упоминалось, что Давид, выступив на бой с Голиафом, предварительно «осенил себя крестным знамением»… Урусов предъявил нам тоненькую желтенькую брошюру, купленную в какой-то бумажной лавке – под заглавием «Стихотворения князя Оболенского», где это было напечатано, и т. п.

Урусову пришло в голову записывать адвокатские «перлы» в самом разгаре прений. Вот несколько фраз, которые он поймал.

«Пожалейте, г.г. присяжные, эту старуху, *смотрящую одной ногой* в могилу».

«У подсудимого, г.г. присяжные, *сзади столько пережито,* что наказание излишне».

Начало речи: *«Выслушав картину,* нарисованную товарищем прокурора…»

«И тогда наконец ему удалось вырвать драгоценную вещь *из рук этой акулы…»*

Все это тешило Урусова, как ребенка. У него всегда была в кармане книжка на длинной стальной цепочке. Туда он заносил всякие подобные заметки. Таких книжек накопилось множество. Они где-то хранятся и когда-нибудь всплывут.

К слогу, к форме речи он был чрезвычайно придирчив и чувствовал каждую неловкость оборота. Он удивлялся, что в Москве с благоговением и жадностью слушали одного либерального оратора, который приступал к речи, например, такою фразою: «В то время, когда в России *робкими шагами зарождалось* самосознание…» Урусов разводил руками: «Еще не родилось, а уже делает шаги!»… Как-то, проезжая со мною по Новинскому бульвару, он меня толкнул под локоть: «Посмотри. Это дом Плевако. Видишь, какой огромный. Ведь вот, у человека есть слава, есть деньги, есть дом, а слога – нет!».

Почти наравне с культом слова в Урусове жил другой культ – культ женщин. Он их любил, как цветы, как солнце, как лучшую радость жизни. Он рассуждал: «С основания мира признано, что высшая эмоция, данная человеку, есть все-таки поцелуй». Сверстники и приятели Урусова называли его не то «сатиром», не то «эпикурейцем». Пожалуй, он был и то и другое. Но все искупалось его искренностью, добродушием и каким-то детским легкомыслием. Он был нетребователен. Умел находить прелесть в самых заурядных «милых созданиях»… Ни одного длинного и захватывающего романа он не имел. При всем блеске своего ума и обаятельности своего характера, он не одержал среди женщин

ни одной из тех побед, которые достаются так легко разным «знаменитостям» нашего пола. Да! Женщины любят или пошлость, или грубый деспотизм, или роковую страсть. Ничего этого в Урусове не было. Он исповедовал завет Пушкина: «Упивайтесь ею, сей легкой жизнию, друзья». К своим разнообразным, общедоступным и случайным подругам он всегда относился с благодарной нежностью. Он говорил: «Ведь в каждой из них есть душа, бьется сердце…» С иными он вступал в переписку, делал им кое-какие подарки, оказывал пособие, и все это без малейших притязаний, с истинно философским эллинизмом. Здесь будет кстати рассказать такой случай. Как-то в Демидовом саду, в нарядной веселой толпе, Урусов встретил одну знакомую и, весь сияющий, с увлечением разговорился с ней. Окружающие обратили на нее внимание, и когда он с ней расстался, спросили его: «кто это?» Он с доброй и широкой улыбкою ответил: «Прехорошенькая дама! Разошлась с мужем – сошлась с публикой…»

Вскоре после выхода в адвокатуру, Урусов переселился из Петербурга в Москву – «поближе к родным могилам». Там у него был наследственный дом в Криво-Никольском переулке, с флигелем и небольшим садом. Он занял дом, а флигель отдал внаем. Обе эти постройки, окрашенные в светло-желтый цвет, были соединены воротами с двумя калитками. Вход к Урусову был со двора. Позвонив у стеклянного тамбура, вы попадали в маленькую темную переднюю. Налево, в большой угловой комнате, предназначенной для зала, помещался кабинет. В нем было много света. Под потолком, вдоль всех четырех стен, тянулись построенные Урусовым хоры для книг с трельяжами из белого дерева. Для доступа на эти хоры имелась особая передвижная лесенка. Посредине обширный стол, заваленный рукописями, по сторонам – большие кресла. На колонне – бронзовый бюст Вольтера работы Пигаля – остроносая лысая голова с впалыми щеками и двумя глубокими морщинами, огибающими насмешливые губы. За кабинетом была просторная гостиная, увешанная старыми картинами и обставленная красивою мебелью разных стилей.

Урусов имел пристрастие к коллекциям, каталогам и алфавитам. Все его книги записывались на особые карточки. Вся переписка с лицами сколько-нибудь интересными хранилась в отдельных папках с обозначением на обложке имени, фамилии и дня рождения корреспондента. Выписки из свидетельских показаний по делам и заметки для речей систематизировались также особым порядком. Кабинет Урусова всегда изобиловал продуктами этой сложной канцелярии. И среди всех этих книг и

бумаг вы всегда встречали крупное, веселое, розовое лицо хозяина, его проницательные милые глаза, обличающие тонкий ум. Вы слышали его острую, приветливую, музыкальную речь.

В этих двух комнатах, кабинете и гостиной, сосредоточивалась показная жизнь Урусова. Семья и другие комнаты оставались в тени. Жена и сын, добрые и прекрасные люди, невольно стушевывались перед Урусовым. Но он любил их искренно, окружал их заботами, тревожился об их здоровьи, отстранял от них все неприятное, видел в них ближайших спутников жизни.

Я часто проезжал через Москву и всегда наведывался к Урусову. Каждый раз заставал его под властью какого-нибудь нового увлечения. Одно время он бредил фотографией… «Знаешь? Я замучил жену, сына и лакея, заставляя их позировать…» Затем вздумал заниматься своим садом по примеру двух героев Флобера, Бувара и Пекюше. Между прочим, он вырастил у себя очень удачный сорт черных роз, слава которых дошла и до цветочных магазинов. Однажды к нему обратились с просьбою продать эти розы для каких-то экстренных букетов. Он отказал и с комическою гордостью добавил: «Я продаю только цветы моего красноречия…»

Но помимо всего, у него каждый раз было на очереди благоговение перед каким-нибудь писателем или женщиной. Он открывал новых авторов, перечитывал старых. Впадал в длинные периоды платонической страсти к Ермоловой, к Дузэ. Писал к ним поэтические послания, носился с ними.

И рядом с этим утешался реальными прелестями какой-нибудь Розы или Ядвиги, находя в них несравненную пластику и удивительный темперамент. И мне невольно вспоминался тургеневский Шубин в «Накануне», когда, плача от неразделенной любви к Елене, он, еще не утерев слез, погнался за молоденькой горничной Аннушкой… Оправдание тут же подсказано Тургеневым: человек «нелюбимый» и в то же время «артист». Кстати, Урусов всегда называл свои фривольные приключения «суррогатом любви». Хотя Урусов был на пять лет старше меня, но мне никогда не думалось, что я его переживу. Он мне казался чрезвычайно крепким, с его могучею фигурою, упитанным телом и всегда веселыми глазами. Но вот как-то весною, на переправе, он простудился и схватил недуг, приведший его через два года к смерти. У него сделались нарывы в ушах. Затем появились глухота, головокружение с потерей равновесия и т. д. В течение этой болезни, сопровождавшейся постепенным угасанием жизни, особенно ярко сказалась вся пленительность его натуры, вся мудрая и поэтическая прелесть

его мировоззрения. Незадолго до недуга, говоря как-то о своих сверстниках, он сказал: «Да. Мы все готовимся в мертвецы. Ну что же! это сословие имеет свои очень почтенные права…» И говорил он это не только совершенно спокойно, но даже с искреннею, веселою важностью.

Оправившись от первых нарывов, Урусов, несмотря на ослабевший слух и невралгию в ушах, тотчас же возвратился к нормальной жизни и даже отправился на сложную защиту в Самару. Вскоре затем он приехал по делу в Петербург и вызвал меня запискою пообедать с ним у Донона. Когда я вошел в занятую им маленькую комнату, причем случайно стукнул дверью довольно громко, он не поднял головы, занятый чтением какой-то книги за круглым столиком с двумя приборами. Он не слышал моего прихода и только когда я подошел к нему вплотную, встретил меня радостными восклицаниями. Голос его был по-прежнему свеж и звучен. Лицо не изменилось. Но говорить с ним было трудно: многих слов он не различал. «Погоди, погоди, – сказал он, – мы это сейчас устроим», – и воткнул в ухо маленький гуттаперчевый резонатор. Действительно, после этого к нему достигали все слова, но каждую фразу нужно было выкрикивать.

– Как же ты защищаешь? Ведь тебе трудно.

– Нисколько. Даже есть некоторое преимущество. Прежде каждый вздор меня волновал, я должен был протестовать, горячиться. А теперь я говорю только то, что мне нужно. А важные сведения сообщает мне записками мой товарищ по защите. Я теперь более объективен. Избавлен от всякого баласта.

Не помню, по поводу чего он сказал: «Но я, как старый атеист…» Против этих слов мне хотелось возразить. Из многочисленных заявлений Урусова в разных литературных кружках я знал, что он питает особенное нерасположение к Предопределению, Промыслу, Провидению, Воле Божией и прочим догматам, стесняющим свободу человека вмешательством Бога. Помню даже, как однажды он воскликнул: «Мы устранили этот авторитет – и чувствуем себя превосходно!»

Я ему заметил:

– Ты самодовольно называешь себя атеистом. Прав ли ты? Ведь вот недавно я где-то читал: *«Наш разум так устроен, что он отрицает все, чего не понимает».* Видишь ли, разум отрицает только потому, что не понимает. А если бы понимал? Истина может быть вне нашего понимания.

Урусов задумался, помолчал. Он издал несколько неопределенных звуков. Ничего похожего на его прежние протесты я не услышал. И наконец он равнодушно сказал: «Да,

все возможно…»

В конце обеда к нам вошла жена Урусова, обедавшая где-то у своих знакомых. Из ее слов я узнал, что положение моего друга очень серьезное. И что меня поразило – она говорила, нисколько не стесняясь присутствием мужа, а он в это время спокойно доедал бисквитное пирожное. Было ясно, что обыкновенного разговора он совсем не слышит.

Летом Урусов поехал с женою в Вену, к хирургу Поллицеру. Затянувшиеся нарывы угрожали головному мозгу. Предполагалась трепанация черепа. Исследуя больного, Поллицер, между прочим, проговорил: «So tatenfähig! Wie schade!»…[3] Но решил погодить с операцией и посоветовал Урусову пить Карлсбад в каком-то местечке под Веной. Оттуда я получал от Урусова самые идиллические письма. Он был весьма доволен заботами жены, а сам перечитывал Гете и сообщал мне любопытнейшие выводы из этого чтения.

Возвратился он в Россию без особенной поправки. И все-таки, тотчас по возвращении, отправился на защиту куда-то в провинцию, взяв с собою в качестве помощника своего сына, а в конце осени выступил в Москве гражданским истцом в процессе Взаимного Кредита. С ватою в ушах, с головными болями, он произнес великолепную речь, единодушно восхваленную всеми газетными телеграммами. Это и была его последняя защита. К концу года он уже не выезжал из дому. Болезнь ушей осложнилась потерей равновесия. Он не мог стоять и ходить без посторонней помощи. Иначе у него являлось стремительное головокружение, от которого он падал. Наступила безнадежная глухота, сопровождаемая несмолкаемым шумом в голове. С ним можно было говорить только записками. Он ходил, поддерживаемый двумя людьми и опираясь на спинку легкого стула, который он подвигал вперед.

Он писал мне в начале 1900 года: «Меня посещают многие друзья. К концу дня скопляются целые груды автографов на подносах. Их убирает лакей».

Вскоре я к нему приехал. Тот же веселый вид, тот же звучный голос! Разговор посредством записок досадно замедлял беседу, но ее сущность и характер от этого ничуть не страдали. Урусов как будто не желал замечать наступивших осложнений. Между прочим случился такой эпизод. Оглянувшись по сторонам, Урусов спросил меня: «Здесь нет Marie?» (так звал он свою жену). Я помахал рукой, показывая, что она ушла в другую половину дома.

«Знаешь? Я получил трогательное письмо. Пишет одна проститутка из больницы. Такая жалкая! Наивный, простой язык! Кажется, жена распечатала это письмо. Но она смотрит сквозь

пальцы… Впрочем, с меня теперь „взятки гладки“. Я ровно ничего не слышу!»

Он это произнес торжественным тоном, с широким жестом, как будто он заявлял о какой-то своей важной, неприкосновенной привилегии. И я невольно засмеялся. Я подумал: «Действительно! Ведь если бы жена захотела сделать сцену, ей бы пришлось исписать целый лист… Нужно было бы сочинять, наклонившись над бумагой… Урусов бы спокойно ждал… Получилось бы нечто забавное и трудное до отчаяния… Нет! Положительно, глухота дает величайшие преимущества, никому иному недоступные…»

Я покинул Урусова с надеждою, что он останется крепким и неунывающим даже в таком искалеченном виде. Прикованный к месту, он забывался в чтении, да кроме того довольно часто писал заметки для газет и журналов. Он сообщал мне о всех своих работах, присылал оттиски и вырезки. О себе говорил, что все идет так правильно к концу, как будто в этом разрушительном процессе можно было бы даже заподозрить план и умысел (беззаботная ирония позитивиста!). Он усиленно просил меня прислать или привезти ему эту книгу мою, которую он давно уже знал по отрывкам. В мае у меня было дело в Москве. Я привез ему все три части записок (без последней главы 3-го тома и заключительных отрывков). Накануне заседания я провел у него почти весь день. Его душевное настроение оставалось неизменным. Лицо нисколько не осунулось, но чуточку побледнело. Да еще я заметил, что никогда не изменявший ему аппетит, по-видимому, исчез. За обедом он ел вяло, а вечером посмотрел на поднос с печениями, поданный к чаю, и равнодушно отмахнулся. После двухдневного процесса я должен был экстренно уехать. У себя в гостинице я нашел возвращенную мне Урусовым книгу, с запискою. Между прочим он говорил, что провел ночь в невыносимой головной боли и вызвал телеграммою Поллицера из Вены.

Из последующих писем его я узнал, что приезд Поллицера оказался ненужным и что за дальнейшее лечение взялся Остроумов.

И затем началось мучительное умирание.

Пока оставались малейшие силы, Урусов писал мне постоянно, без перерыва. Сообщал о своем разрушении и настаивал на своей твердости. «До сих пор нисколько не унываю. Не знаю, как будет дальше»… «Почему думают, что жизнь дана для счастья, успехов, славы и т. п.? По-моему, страдания и горести так же необходимы». Но муки его были ужасны. Он безропотно извещал меня о сильнейших, ничему не уступающих, болях в голове в течение двадцати дней. Глухой и обессиленный,

он уже не покидал кровати. При нем находились две сестры милосердия.

В это именно время моему бывшему помощнику Гольдштейну пришлось ехать через Москву, и я просил его добиться точных известий о положении больного. К Урусову уже никого не допускали. Но, узнав, что явился посланный от меня, он принял Гольдштейна. Мало того, Урусов потребовал, чтобы сестры вывели его в сад. Там, на скамейке, он говорил Гольдштейну: «Я думал, что умирать легко… Нет! Вот, даже Юпитер (у него был в саду гипсовый бюст Юпитера) – и тот ничего не поможет!» На прощанье он велел срезать для Гольдштейна несколько цветков.

Последняя его записка ко мне была написана постороннею рукою. В уголке он мелкими буквами приписал: «Прощай». Вслед за тем я получил депешу о его кончине.

От его близких я узнал подробности. Больной дважды исповедывался и приобщался, о чем Боборыкин презрительно отозвался: «Почему это ему понадобилось être muni…»[4] Урусов несколько раз проговорил, ни к кому не обращаясь: «Есть Бог… Мы все увидимся…» За два дня до смерти он велел вынести себя в гостиную и в кабинет. Осмотрелся по сторонам и заметил: «Все хорошо… Я могу умереть». Накануне смерти жена вошла в его тесную спаленку. На его лице была улыбка. Он сказал: «Мне хорошо… Я думаю об Андреевском. – И, взглянув на жену, с нежностью добавил: – Я и о тебе думаю…» Скончался он ранним утром, в бреду. Своего помощника он спросил: «Читали ли вы депешу о кончине присяжного поверенного Урусова?» И еще: «Почему так темно? Нельзя ли зажечь лампы?» Это был паралич зрения, т. е. прославленное гётевское: «Mehr Licht!»[5] Более он ничего не говорил. Свет для него погас, и он умер.

Я произносил речь, когда его опустили в могилу. Шел упорный, несмолкаемый теплый дождь. Я стоял на бугре липкой грязи. Подо мною, в яме, виднелась крышка металлического гроба. Мокрые деревья Пятницкого кладбища теснились вокруг. Мой голос дрожал сквозь слезы.

III

16 мая 1903 года, двухсотлетие Петербурга. Погода великолепная: день яркий, теплый, веселый. Церемонии этого дня известны из газет. Я выехал прокатиться на острова только в семь часов вечера. Отправился со Знаменской на Невский. Проехал весь Невский. А затем мимо памятника Петра, по Дворцовой набережной, сделал обычную прогулку на Стрелку, через открытый в этот день Троицкий мост и новую аллею, прорубленную в Александровском парке.

Большое оживление уличной толпы. Пестрота национальных флагов. Декорации с апофеозами Петра. В подходящих местах выставлены три гипсовых бюста: наверху крупный Петр, под ним мелкая парочка – Николай и его супруга Александра. Вокруг фальконетовского памятника полукружие из аляповатых щитов с инициалами Петра. Сбоку изящная «Царская палатка» с золотым орлом наверху, задрапированная нежно-белыми и бледно-зелеными тканями. Здесь находилась императорская чета во время молебствия. Возле памятника наибольшее скопление публики. Продавцы юбилейных сувениров, в виде бутоньерок, жетонов и раскрашенных бумажных флажков, осаждают экипажи. Дворцовая набережная, вплоть до новорожденного Троицкого моста, запружена пешеходами и катающимися. Все балконы переполнены. На противоположном берегу рисуется спокойный силуэт холодного Петропавловского собора за крепостным валом. Чуется бесстрастное величие истории…

На Троицком мосту, в этот первый день его существования, стояла неимоверная пыль от мелкого гравия, которым он был посыпан перед церемонией и который был поднят в воздух сотнею тысяч колес.

Вся печать совершенно заново восславила Петра. Городской голова с коленопреклонением возложил на гробницу медаль «незабвенному основателю столицы». Это уже вторая медаль. Петр получает их по одной в каждое столетие. Едва ли это не единственный на свете мертвец, столь успешно и правильно, с такими грандиозными промежутками времени, продолжающий свою карьеру за гробом. Ибо только на его плите, среди всего царского кладбища, как на живой груди, имеются эти периодические знаки отличия, от потомства.

В детстве я был глубоко религиозен. Поэтому мне нравились московские цари, носившие святительские одежды. Дойдя до Петра, до перенесения России в Петербург, с петровскими кораблями, ботфортами, короткими сюртуками, плотничеством,

верфями, крепостями и т. п., я испытал как бы прикосновение чего-то грубого, будничного, практичного после величавых грез. Но по мере того, как я знакомился с политическими науками, я убеждался, что государственная жизнь России во всех ее областях начинается с Петра. Разносторонность Петра, его трудовая производительность, его разительная и неутомимая подвижность, громадные результаты его жизни совсем покорили меня. И я не могу смотреть на него иначе, как на чудо природы. Впрочем, весь мир насчет Петра единогласен. История не может назвать исполина, равного ему. Александр Македонский, Цезарь, Наполеон – только завоеватели. Да и то, в конце концов, несчастные. А Петр – завоеватель чрезвычайно успешный, но это у него «между прочим». Помимо этого, он создал мореплавание, горное дело, медицину, театр, коммерцию, ремесла, юстицию, лесоводство и т. д. и т. д. – чуть ли не все, чего требует жизнь. Вездесущ, неутомим, неумоляем, – и потому люди причислили его к богам. Фигура – что и говорить – незабвенная, вечная.

А все-таки: юбилеи, пожалуй, благородны и, быть может, полезны, но как они жалки. Чувствуется нечто неимоверно тупое и безнадежное, вроде оживленных бесед… с могильною плитою.

Помню, во Франкфурте я был на 150-летии рождения Гёте. Церемония происходила в августе, в тихий, солнечный день. Декораторы выдумали устроить над чугунной статуей Гёте высокую клетку из золоченых прутьев, совершенно такого же фасона, как клетки для попугаев. Прутья были перевиты зеленью и цветами, но, конечно, спереди монумент обрисовывался вполне сквозь широкое отверстие. Площадь была запружена публикой и депутациями, со знаменами и значками. По очереди какие-то румяные и коренастые ораторы в лоснящихся цилиндрах пошло и звучно отчитывали заученные приветствия, напрягая голос и жестикулируя перед статуей, как перед беззащитным, но глубокоуважаемым начальством. После каждой речи трубачи играли туш.

Мне было жутко за Гёте…

IV

В «Ниве» напечатано частное письмо Льва Толстого о нашей судьбе за гробом. Толстой открыл секрет. Оказывается, что наша земная жизнь, по сравнению с загробною, то же самое, что сон по сравнению с действительностью. Ведь во сне мы принимаем свои видения за жизнь, но это лишь грезы, а самая жизнь наступает только после пробуждения. Так будет с нами и в минуту смерти. И далее идут рассуждения: смерть в молодые годы – это пробуждение после краткого сна; смерть при самоубийстве – пробуждение после кошмара; смерть в старости – пробуждение человека, хорошо выспавшегося. И Толстой уверяет, что это не придумано им, а что это настоящая правда. Напрасное уверение! Слишком ясно, что это именно придумано: потому-то он и спешит оправдаться, что это не придумано.

А смерть новорожденных? А смерть грудных младенцев?..

Да и вообще: какое самомнение, какая дерзость оповещать людей о тайне, навеки недоступной!

Как это Лев Толстой не сообразит, что раскрытие Богом подобной тайны хотя бы самому Льву Николаевичу, было бы равносильно уничтожению и отмене всякой земной жизни. Если вывод Л. Толстого верен, если бы этот вывод был доказан, то кто бы остался жить? Кто бы не предпочел сулимую Толстым подлинную, настоящую жизнь той смене мучительных и бессмысленных призраков, среди которых мы мечемся?! Все должны были бы прибегнуть к самоубийству, и Л. Толстой раньше других, ибо ведь он-то достоверно знает, что будет дальше. Положим, по его словам, самоубийство дает пробуждение какое-то внезапное, беспокойное, как после кошмара. Но каждый по себе знает, что именно пробуждение от кошмара даже как-то особенно приятно. Пробуждающийся невольно думает: слава Богу! я очнулся! И кто же бы дотягивал до несносной старости только ради того, чтобы «хорошо выспаться»?!..[6]

Я часто думал: когда приближаешься к кончине, то невольно цепляешься мыслью за прекрасных и великих предшественников, и чувствуешь успокоение в том, что разделишь их участь. Помимо незабвенных близких, которых знал и любил, – говоришь себе, например: там Пушкин, Лермонтов, Шекспир и другие. Глубокие сердца! Пленительные души! Как благороден и широк их взгляд на жизнь! Они исчезли… О, конечно, – туда, за ними!! Что бы нас ни ожидало, мы отойдем в сердечном согласии с их гением. Но: Толстой, Достоевский… удивительные писатели! И однако же, их ковыряньe в глубинах души и тела до того придирчиво, каверзно

и утомительно, что, конечно, хотелось бы от всего этого, по крайней мере, там отдохнуть. Эти великие литераторы не дали отрады ни живому, ни умирающему. Моя матушка, читая их, всегда отзывалась: «C'est le cancer de cerveau…»[7]

И после долгих терзаний в конце концов я чувствую, что со смертью мы отходим к Богу, под Его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет (кажется, ничего, все произошло благополучно) – и под него мы укроемся… Да будет!

V

Люди одинаково наслаждаются и страдают от зрительных впечатлений. Чувство красоты и ужаса в равной мере получаются нами от образов, линий и красок. И мы себя запугиваем ложною иконографиею смерти.

Принято изображать смерть в виде скелета с косою. Как это нелепо! Как это детски поверхностно!

Смерть – это секунда, когда остановилось сердце и прекратилось дыхание. Будем же справедливы и дадим смерти тот образ, какой она имеет в это подлинное мгновение ее окончательной власти. Это мгновение, т. е. разлитие покоя на страдавшем лице – как хотите – прекрасно!

Все, наступающее затем, находится уже бесконечно далеко позади смерти, а скелет обнажается лишь по окончании тления.

Ведь вот, мы считаем рождение радостью. А между тем новорожденный в минуту появления на свет всегда уродливее любого скончавшегося. И если приложить к рождению ту же несправедливость, какую мы вносим в эмблематику смерти, т. е. взять предшествующие ему моменты, как для смерти мы берем последующие, то нам придется изображать зарю жизни в виде нелепых зародышей, уродливых головастиков, настолько непропорциональных, скрюченных и отталкивающих, что самый скелет, имеющий по крайней мере законченную симметрию, пожалуй, красивее.

VI

Дюма-сын, описав последние дни своего отца и обращаясь к его тени, сказал: «La terre va vite! A bientôt!» («Земля вертится быстро. До скорого свиданья!») Именно: земля вертится быстро. В этом страшном коловращении как-то явственно исчезает разница между молодыми и старыми, между живущими и умершими…

VII

Жизнь есть право, а смерть обязанность. Сохраняю за собой право собственности на это изречение.

VIII

Только тот поможет в жизни и украсит ее своим пребыванием на земле, кто различит или услышит ближе других голос непостижимого Бога.

IX

В первых строках моей книги я назвал жизнь «непроницаемою святынею». Это необходимо сознавать каждому. Но это нисколько не исключает ни пренебрежения к ценности жизни ради высших интересов, ни самоубийства, когда сама жизнь выгоняет вас из мира. Напротив, и то и другое подтверждает, что жизнь, как нечто временное, озарена изнутри чем-то великим, находящимся вне ее призрачной важности.

X

Все люди – хорошие, жалкие. Один мой родственник говаривал: «Я смотрю на людей, как на цилиндры, обращенные ко мне своими лучшими сторонами. Остальное, что в них есть, меня не интересует»… Так именно следует смотреть на людей. Ведь все мы подсудны Богу, Року, Природе – называйте, как хотите, силу, давшую нам жизнь и над нами главенствующую. Как же нам не жалеть друг друга?! Люди неприятные, вредные – в конце концов, жалки, потому что и для них было бы гораздо лучше ладить с прочими, но если им это не удалось, значит, нечто сидящее у них внутри или давящее на них извне, помешало им в жизни.

XI

Весна – время экзаменов: для молодежи – по части наук, для стариков – по части устойчивости их организма. Здесь интересы прямо противоположны. Дети и юноши стремятся непременно перейти в следующий класс и более всего – окончить. А старик мечтает: «Только бы остаться в прежнем классе». И сохрани Бог – «окончить курс»…

XII

Самая глубокая легенда Библии – Вавилонская башня. Можно было бы достроить башню до неба, если бы не «смешение языков», – если бы не взаимное непонимание. В том-то и беда, что никто никого не понимает. («Personne ne comprend personne»[8], как говорил Флобер). В каждом отдельном человеке сидит все человечество. И только тогда, когда более или менее все поймут друг друга, люди станут близки к счастью.

XIII

Жизнь есть радость и долг, трагедия и надежда.

XIV

С первых сознательных дней, в самом раннем детстве, я уже взглянул на жизнь, как на нечто мучительно странное. Едва ли мне было пять лет, когда уже в иные мгновения я с внезапным ужасом осматривался на все окружающее и говорил себе: «Да что это такое?! К чему я вижу эти лица?! О чем они говорят? Зачем я должен во всем этом участвовать?! Я ничего этого никогда не знал…» И хотя бы на одну страшную секунду, но уже тогда мутилась моя мысль до отчаяния, я чувствовал, будто падаю в бездну, – но тотчас же что-то приходило мне на помощь – и я снова делал все, что мне полагается, как другие, как нужно, как велено…

Эти припадки повторялись, и я иногда умел вызывать их искусственно. Я даже тогда нашел для них сравнение и название. Сравнивал я их с тем, что когда перекосим глаза, то вдруг все предметы покажутся в комнате двойными. Так и вся жизнь. Если взглянешь на нее, как бы перекосившись, откуда-то со стороны, – вдруг все покажется нелепым. Я приспособился это делать и называл это «сбоку посмотреть»… Я и боялся этого занятия, и все-таки помимо своей воли, неожиданно для себя, иногда повторял тот же прием, убедившись на опыте, что это ужасное ощущение так же внезапно исчезает, как и приходит.

XV

Очень странно видеть, что писателей, художников, общественных деятелей и т. д., перешагнувших за пятьдесят, попрекают отсталостью, называют старомодными и вообще начинают самонадеянно сдавать в архив. Прежде всего еще вопрос: кто кого переживает? Нельзя предвидеть, что привьется, что уцелеет в будущем. А затем, расстояние в два, три, даже четыре поколения совершенно ничтожно. История убеждает, что два века почти не отличаются друг от друга. А уйдет история дальше, то побледнеет разница даже между тысячелетиями. Через двадцать тысяч лет всех нас, начиная со времен Сократа, в одной общей компании будут называть «людьми первых тысячелетий», которые употребляли в пищу зверей, вели войны и т. п. И как странен Мечников с его усердием продлить нашу жизнь до двухсот и более лет. К чему? Возможно ли будет, даже в такой срок, догадаться, для исполнения какой высшей цели все мы предназначены? Вот если бы человек мог прожить этак пятнадцать тысяч лет или вроде того – ну, тогда, пожалуй, хотя какая-нибудь диаграмма, какая-нибудь мало-мальски уловимая, хотя все еще туманная линия предначертанных нам целей могла бы мелькнуть в нашем уме. Но «в высшем суждено совете», что этого никогда не будет и что для каждого, кому «показан будет свет», кто родится в какое бы то ни было время в будущем, дарованная ему жизнь останется для него, на срок его пребывания в этом мире, тайною.

XVI

Педагогия работала очень долго и упорно над тем, чтобы обезличить людей, чтобы привить каждому нечто чуждое, известное, вместо того личного и неведомого, что непременно вносит с собою в жизнь каждое дитя. Такой порядок был необходим. Он упрочил общежитие. Совместное существование людей, в главных чертах, уже закреплено навсегда. И теперь можно было бы понемногу начинать более осторожное обращение с «личностью». Следовало бы заботиться о ее сохранении, насколько это мыслимо и терпимо, в том подлинном виде, как личность создана природою. И если впредь еще допустимо некоторое обобщение, то вот в чем оно нужно. Нужно развивать в каждом с детства чувство непостижимости всего окружающего (при кажущейся его ясности), а также сознание беспредельной вечности земных дел после нашей ничтожной и временной жизни. Раз это привьется к ребенку, он во всем остальном будет прекрасным человеком. Это не помешает ему работать и не сделает его рассеянным мечтателем. Сила жизни приспособит его, в его маленьком масштабе, на все необходимые действия. Но ни рабство перед кем бы то ни было, ни жестокость к ближним уже никогда не завладеют таким ребенком.

XVII

Следует помнить, что слава, большое или великое имя – не зависят от человека. Все это дается откуда-то свыше, вследствие непостижимых велений или прихотей истории. Не только люди, но даже камни, глухие и неведомые местечки земли, случайно получают бессмертие: мрамор, из которого высечены Венера Медицейская, Марафон, Бородино, Ватерлоо, Вартбург, Констанца. Все зависит от того, на чем, на ком сосредоточится витающая над нами непознаваемая Сила. Точно «сошествие огненных языков»!

Не так же ли нисходит это пламя на головы гениев, героев, изобретателей, благодетелей и вождей человечества?

И я всегда благоговел перед этой Силой, но никогда не перед отдельными людьми. Все, что было создано этой Властью, я считал своим, данным мне в отраду и на удивление, помимо личных заслуг, со стороны моих собратьев.

XVIII

Японцы, отправляясь на войну, прощаются с родными навеки. Считают себя обреченными смерти. Смотрят на возможность вернуться, как на несчастье, потому что это случится только в случае победы неприятеля.

Мой знакомый по этому поводу сказал:

«Да. Они не ставят жизнь ни в грош. Разумный народ. Очень!»

Вся эта фраза, в ее точном виде, меня поразила. Жизнь – святыня? Жизнь – вздор? Кто прав?

XIX

Удивительна одна общая глупость, свойственная всем людям без исключения: «эгоцентризм». Каждому представляется, что он составляет центр Вселенной. Все для него. Жизнь мира с ним началась и едва ли после него к чему-нибудь понадобится. Прошлое существовало только для того, чтобы угодить его воображению. Все герои и страдальцы истории, все великие писатели минувшего, кажется, говорят ему: «Ты один нас поймешь, мы для тебя одного существовали, ты нам ближе всех». Зато все несчастья мира кажутся нам предназначенными только для других: «катастрофы, разочарования в любви, старость и самая смерть – поверь – это удел всех прочих; все это несется мимо тебя, для твоих наблюдений, созерцаний, мыслей, для любопытного возбуждения твоих чувств. Но ничто подобное с тобою не случится».

И сколь бы последовательно и явно ни убеждала нас жизнь в противном, это нелепое убеждение живет с нами до конца.

XX

Я бы охотно отдал Богу мою жизнь – этот дар, значение которого я не понял. Я носил его, как священное бремя. Иногда это бремя обращалось в крылья и, казалось, поднимало меня к счастью, но на самой вершине радости я ударялся в нечто тупое и чувствовал: «Нет, это не то… А дальше идти некуда».

Быть может, значение каждой жизни в том, чтобы она прошла. «Что пройдет, то будет мило». Наш след оставляет в живущих и печаль, и благородную, возвышающую любовь к невозвратному. Сделаем что-нибудь для будущих жителей земли, расскажем им, что видели, что чувствовали. Они наши братья, они поймут. Их сочувствие и память – продолжение нашей души.

Пародируя французский афоризм о путешествиях, я бы сказал о жизни: on vit pour avoir vécu[9].

XXI

Для того, чтобы быть любимым, надо умереть. И, напротив, если кто был любим при жизни, того забудут.

XXII

Журналистка трубит: Жизнь! Люди!
Поэзия взывает: Бог! Я!
Журналистика испаряется, поэзия остается.

XXIII

Я встретил ее 22-го апреля 1889 года. Она меня ослепила сразу своим изяществом, грациею, благородством, молодостью. Ей было двадцать, мне шел сорок второй. К ней относится мое стихотворение: «Мне снилось, я поэт…» В течение десяти лет она была единственною радостью моей жизни, невзирая на всевозможные раздоры, тягости и мучения. Ничто не могло заглушить во мне чувства близости к ней. Она мне отдалась вся, целиком, без возврата, – верная, правдивая, гордая, одинокая, чарующая и странная… Она потребовала только моей взаимной верности, высказав незабвенную мысль: «Je comprends qu'on peut rendre son corps sans rendre son coeur, mais quand on a rendu son coeur, on ne peut plus rendre à personne sons corps»[10]. К исходу десяти лет постепенно обнаруживалась ее болезнь. Вспыхивала беспричинная, гневная ревность. Начались непонятные и несвойственные ей требования, угрозы, – с ее кротких милых уст гремела неистовая брань, – иногда на ее бледном, измученном и очаровательном лице вдруг появлялась нежная доброта, и она в недоумении шептала: «Je ne sait ce que c'est. Je suis malhereuse. Il ne me reste que l'hôpital ou le couvent»[11]. Наступил бурный разрыв, в течение которого (почти полгода) она не выходила из своих комнат и пролежала в постели. Я исстрадался, не понимая, что творится. Наконец она не выдержала и первая потребовала моего возврата. А через несколько месяцев обнаружилась ее душевная болезнь…

Больница. Опять разлука, на этот раз похожая на кошмар.

И еще два года мучительных радостей. Оставаясь странною, она расцвела, сделалась мирною, трудолюбивою, – любящею безропотно, смиренно, трогательно.

И вдруг, весною 1902 года, за одну неделю, весь недуг возвратился с необычайною силою.

29-го марта 1902 года она вышла из своего уголка, покорная, в бреду, села в карету и была скрыта от моих глаз почти навсегда в другой больнице. Не было дня, чтобы я не думал о ней – и не делил мысленно ее страданий и неволи.

Меня обнадеживали… 7-го августа 1904 года, через два с половиною года, я наконец решился увидеть ее (раньше не пускали), чтобы хоть проститься. С холодеющим сердцем вступил я в коридор, где была ее комната, и прошел мимо открытой в эту комнату двери… Я не узнал ее. Меня остановили и вернули. В глубине комнаты поднялась мне навстречу слабенькая высохшая женщина с побелевшими волосами. Но это была она. И я зарыдал

громко, без удержу; и плакал почти целый час, как бы над ее гробом. И она молча, крепко прижималась ко мне, стоя за моей спиною и закрывая мои глаза своею прелестною ручкою, чтобы я не вглядывался в ее искаженные черты… Сердце ее страшно стучало, но, задыхаясь от волнения, она не произносила ни слова. Когда же меня позвали, сказав, что свидание наше кончено, она разомкнула свои руки, отошла и вдруг начала произносить осипшим голосом, куда-то в сторону, какой-то непостижимый набор слов с выкриками ругательств…

XXIV

Маятник Вечности слышится людям только раз в столетие. В одно столетие он отбивает: «есть Бог», в другое: «нет Бога». И так, долгими веками, несчастная душа человечества все мечется то вверх, то вниз.

XXV

Для всех людей существуют три бездны, три тайны, три надежды на счастье: Бог, Любовь двух полов и Смерть. Это и есть основа жизни: три кита, на которых держится мир. Триединая (Святая) Троица. Не будь метрических книг, не было бы никакой надобности в религии, потому что мы обращаемся к духовенству только для крещения, бракосочетания и погребения.

XXVI

Я чувствовал себя гораздо лучше и был несравненно благороднее, пока не родился. Умирая, можно утешить себя автоэпитафией малороссийского философа Сковороды: «Мир меня ловил, да не поймал». Мой вариант той же эпитафии: «Я отдал людям жизнь, но душу взял с собой».

XXVII

Это было летом, когда умер присяжный поверенный Миронов. О нем, помнится, говорил Урусов: «В этом человеке трепыхается такое же доброе сердце, как у среднего русского присяжного заседателя». Я любил Миронова за простую звучную речь, за теплую душу, за его здравый ум и мягкие взгляды на людей. Он всю жизнь хлопотал, защищал по всяким делам, был популярен. Полный, почти тучный, бородатый, громогласный, Миронов казался здоровым, но в действительности всегда страдал сердцем. И умирал тяжело… В светлый летний вечер я поднялся в его квартиру на панихиду. Простоял в передней, не заглядывая в зал…

Возвратившись к себе, я прочитал в газете, что эскадра Рожественского прошла мимо Канарских островов. Где это Канарские острова? Я всегда был плох в географии. Мне почему-то вздумалось: а, пожалуй, Миронов это знал… Если бы он был жив, я бы просто спросил его об этом. Теперь спросить нельзя!.. Совсем нельзя. Ведь вот задача! Мне вдруг мучительно захотелось убедиться, знал он или не знал о Канарских островах и скоро ли бы ответил. Я готов был, кажется, растолкать, пробудить, оживить его.

Но, в сущности, стоило ли просыпаться от вечного сна для того только, чтобы пробормотать: «А?.. Что?.. Канарские острова?..» Ответить и вновь умереть.

XXVIII

Описывать ли этот минувший год (1904–1905) – первый после Плеве?

Политика никогда не захватывала и не увлекала меня. Я всегда смотрел на правительство, как на прислугу, оберегающую спокойствие и довольство жителей государства точно так же, как это делают слуги отдельного дома – швейцары, дворники, сторожа и т. д. Правительству поручается заботиться о том, чтобы ничто не мешало спокойному и свободному течению жизни, чтобы соседний народ не вторгался в наши пределы, как злодей, чтобы неразвитые, жалкие, дикие люди внутри страны не делали обид порядочным людям, – словом, чтобы каждый делал свое нужное дело с любовью и без помехи. В широком смысле, деятельность каждого правительства все-таки отрицательная, а не творческая. Портной, часовщик, ювелир, башмачник (не говоря уже о высших деятелях духовных) создают нечто новое, нужное, интересное, а правительство только и должно думать о том, чтобы всем таким нужным людям жилось беспрепятственно. За это правительству щедро платят, дают ему потешаться видным положением и, конечно, питают к нему известную благодарность. Вот и все.

Но так как в массе человечества еще на многие века вперед останется великое множество горестей материальных и страстей чисто животных, то роль правительства продолжает быть громадною. Войны, революции, государи, полководцы, правители, герои отечественной обороны и народного бунта – все это яркими строками вписывается в историю.

И вот теперь совершается в России переворот.

Оказывается, что неисчислимое множество прогрессивных людей, молодых и старых – всех профессий и положений – издавна ненавидело правительство. Это глупое, самодовольное, праздное и хищническое правительство преспокойно придавливало все, что ни попало, заслоняясь от малейшей попытки нарекания или протеста божественною абсолютною властью монарха.

Плеве был тем пластырем, который прикладывают к нарыву для того, чтобы он увеличился до полного напряжения и, наконец, прорвал. Когда после убийства Сипягина, Плеве был назначен на его место, я говорил одному из его близких знакомых:

«Знаете? Плеве не годится. Он не понимает настоящего времени. Его личность вполне сформировалась еще в последние

годы Александра II, когда правительство задавалось одною главною целью: охранять жизнь царя. Он будет действовать в том же духе. Он все прикроет и придушит. Но это ни к чему не поведет. Ведь теперь потребность в свободе уже не составляет „дерзости“, „бунта“ и т. п. Она так же проста и понятна, как желание иметь водопроводы, телефоны, электрическое освещение и прочие общепризнанные удобства жизни. Как этого не понять?»

«Да… Пожалуй… Трудное время… Что же поделаете!..»

Случилось, как я думал. Плеве решил затянуть мятущуюся Россию «железною уздою». Он был неутомим, силен, беспощаден. Полагаю, что он действовал по убеждению. Он знал, что его жизнь в опасности, что его не любят. Работал много, был краток в резолюциях, жесток в отношении всех, кто ему мешал. Волнение разрасталось, а он все гнул по-своему. Ссылал, казнил, порабощал печать. Но за наживою он не гнался. Царю не только не льстил, но даже держал его под своим надзором. Едва ли и деспотизм доставлял ему приятные чувства, потому что он понимал трудность положения и, насколько я его видел издалека, всегда имел озабоченное, суровое лицо без улыбки. Значит, ему казалось, что нужно так действовать. Это было странное трагическое ослепление, внушенное ему, быть может, историей, которая избрала его последним мастером консерватизма, последним отчаянным слугою самодержавия, как идеи, потому что насчет индивидуальной личности оберегаемого им самодержца Плеве не мог иметь никаких иллюзий. Так думалось мне со стороны. Да и все, мне кажется, вообще чувствовали, что «Плеве лезет на рожон».

И все-таки на охрану Плеве столько тратилось, фигура его была так сильна, что, казалось, к нему нет никакого приступа. И вдруг – этого человека убили, без промаха, в одно мгновение, среди белого дня. Я узнал о событии минут через сорок, по телефону. Не верилось… Невольно я спросил: «Уже умер?» – «Да, мгновенно. Под карету была брошена бомба».

Сразу почувствовалось необыкновенное облегчение.

Никакого подобия преемника для Плеве в руках правительства не предвиделось. Последняя ставка репрессии была проиграна. Нельзя было сомневаться, что жизнь России так или иначе, но неизбежно повернется к воле.

Призвали к управлению страною милого Святополк-Мирского. Его «доверие», т. е. непрепятствование общественному мнению, сделало чудеса. Впервые заговорило развязанное слово печати. Статья Евгения Трубецкого «Бюрократия и война» была первым опытом откровенной публицистики. Ее прочли все, не веря своим глазам. Обрадовались и почувствовали смелость.

Убийца Плеве, Сазонов, не был казнен.

А осенью уже нельзя было выгнать из Петербурга земцев, которые съехались в полуконспиративное сборище для того, чтобы заговорить о конституции. Их игнорировали, но им не препятствовали. Три дня длилось это совещание. Резолюция съезда была отпечатана и ходила по рукам. Те, кто встречал после того участников съезда, невольно спрашивали: «И вы еще не арестованы?!»

Затем все пошло с поразительною быстротою: шествие рабочих к царю 9 января под предводительством Гапона, кровопролитие этого дня, убийство Сергея Александровича, манифест, указ и рескрипт 18 февраля, депутация Трубецкого 6 июня, глупенькое положение о Государственной Думе 6 августа, автономия университетов и нескончаемые митинги, внезапная смерть Трубецкого с грандиозными чествованиями его праха, неожиданная и грозная забастовка всех железных дорог, эпидемическое забастование прессы, освещения аптек, разных учреждений и т. д. Вот что случилось до того дня, как я пишу.

Под давлением таких событий невольно появилась конституция 17 октября. Она была объявлена где-то на Невском ночью, а я прочел о ней в 8 часов утра 18 октября в «Правительственном вестнике». У меня дома в этот день была трудно больная, и я выбрался только в три часа, чтобы взглянуть на город. День был сырой, безветренный. На Невском необычайная, возбужденная многолюдность. Толпились во всю ширину проспекта, до его середины, благодаря отсутствию все еще бастовавших конок. Замечались повсюду, где представлялась возможность, плотные группы людей, с какими-то ораторами посередине: на углах улиц, у Гостиного Двора, на крыльце Думы. Народ кишел, но экипажи двигались свободно. В толпе чуялось оживление, любопытство, сознание какой-то важной победы и сдержанное удовлетворение. Полицейские и городовые имели вид недавних врагов, обратившихся в друзей с широкими улыбками и покровительственным добродушием. Часто попадались небольшие процессии с красным знаменем. Перед первою из таких процессий я невольно обнажил голову: ведь это было знамя действительно завоеванной свободы, за которую достаточно пролилось крови, перенесено тюрем, ссылок, каторги и виселиц. Кажется, простая вещь, а какими страданиями и ужасами достигается!

Возвратившись домой, я узнал, что и в предыдущую ночь, и сегодня в эту взбудораженную манифестом толпу стреляли… Были убитые и раненые.

Последующие дни доказали, что Манифест о конституции

принят только как «обещание». Между тем объявленная «гражданская свобода» вызвала повсеместные новые трагедии. Революционеры с азартом сквернословили. Приверженцы старины взбесились. Резня, варварские убийства с поджогами! Газеты сбросили с себя цензуру. Радикальные и вновь возникшие издания заговорили разбойничьим, беспощадным языком.

Нет! Как-то не хочется писать дальше… Да и ни к чему, – все будет известно из истории. Происходит несуразная сумятица. Революция… Это нужно и однако же мерзко. Так бывает всегда, когда действуют большие человеческие массы. В отдельном человеке еще можно доискаться до Бога, но в громадных толпах народа всегда действует один дьявол. Нельзя узнать людей… Они глупеют и озверяются.

Недаром только отшельники считались святыми. В общежитии чрезвычайно трудно избегнуть свинства. На известный период времени люди как будто и сладятся. Но, нет-нет, откуда-нибудь поднимается издавна зреющее недовольство. Война или революция. Попросту говоря, зверство.

Досаднее всего, что в целях почти каждой революции чуется известное право и правда, а в средствах – гадость и несправедливость. И нельзя этому помочь и бесплодно возвышать голос.

Партии до ярости ненавидят друг друга. Всякое взаимное доверие, малейшая возможность пощады – исчезают.

Витте хитрит. Ярких деятелей нет. Революция тянется. Множество бедствий. Есть легионы фанатиков. Смута. Основы общежития подорваны. Все готовятся к несчастиям, не ведая, откуда они возможны и в чем проявятся. Хочется ото всего этого отвернуться и – нельзя. Ну, что ж? Да совершатся судьбы Истории…

Едва я это записал, как разразилось бестолковое «вооруженное восстание» в Москве. Оно сразу показало, что ошалевшие крайние партии, сумев довести почти до ужаса всю Россию, в сущности, были бессильны перед войсками и перед плотною, тяжелою массою основного населения страны. Изумительные на первых порах победы пролетариата и демократии оказались не более, как плодами разнузданной истерики и бахвальства.

Но в этом крикливом задоре людей, издавна считавших свободу своим естественным правом, в этом неистовстве и опьянении смельчаков и подростков, бросавших свою жизнь в схватке с ненавистным деспотизмом, – теперь, когда позади осталось столько жертв, – вспоминается то краткое время, когда грозная, но чудесная стихия рванулась вперед, чтобы освежить

жизнь… Тяжело дается людям их заветная правда. И как часто они кажутся гадкими и уродливыми тогда, когда лишь исполняют непреложные законы стремления к новому, лучшему…

Правительство одолело революцию с помощью расстрелов, арестов и административных высылок. К таким жестокостям не прибегал даже веривший в свое призвание Плеве. Наружная жизнь как будто и вошла в норму. Мы уже переступили в 1906 год.

Однако память минувшей осени еще «свежа поныне». Гвалт революции на митингах и в газетах еще шумит у всех в голове и никогда не забудется. Вспоминается легкое и победоносное скопление тысячных революционных толпищ при малейшем благоприятном случае. Эти процессии с красными знаменами были проникнуты таким сознанием своей правоты, что их невольно уважали, перед ними терялась полиция… Все это теперь исчезло. Но спрятавшаяся сила где-то бурлит, и можно поручиться за одно: она уже никак и ни за что не дозволит возвратиться к старому.

XXIX

Пользуюсь промежутком, пока тянется борьба между освободительным движением и репрессией, чтобы поговорить о святых преступниках революции. Нельзя иначе назвать многих удивительных убийц.

Сколько сильных и чистых людей погибло только из-за того, чтобы уничтожить пагубное обожествление дома Романовых. Нечего и говорить, что Романовы сами по себе тут решительно ни при чем. Уж такова жизнь. Но декабристы, казненные и сосланные в каторгу, – но молодежь, перевешанная и заточенная из-за Александра II – Кибальчич, Софья Перовская, Вера Фигнер – какие это были несокрушимые бескорыстные аскеты и страдальцы за идею. А в ближайшие времена: Балмашов, Сазонов, Каляев…

«Кто не способен на злодейство, тот не только не может быть государственным человеком, но даже не годится в заговорщики». Я нашел в альбоме одной барышни[12] этот глубокий афоризм Урусова, изложенный им на французском языке. Урусов имел особое пристрастие к французской речи, находя ее более точною и музыкальною, нежели русская. Мысль Урусова удивительно верна. Жестокость неизбежна в политике. И часто она уживается с самым чистым идеализмом. Я перечислил убийц, о которых сохранились единодушные отзывы очевидцев, как о людях, проникнутых величайшею любовью к обществу, к человечеству.

И нельзя отрицать: каждый из них в известной степени благотворным образом переменил русло истории.

Возьмите Сазонова. От него непосредственно идет все «освободительное движение». А Каляев? Менее, чем через две недели после его убийства, растерявшийся Николай II выронил, наконец, из рук, 18 февраля 1905 года, первый документ о необходимости обратиться к народу, т. е. вынужден был подписать первую бумагу, намекающую на конституцию… Наступило ли бы все то, что случилось, без этих убийств? Кто постигнет трагические законы жизни?..

XXX

Что надо делать? Что важнее всего? Чем можно расплатиться за право жизни?

Ребенком я чувствовал радость, когда мне удавалось исполнить приказание старших: выучить трудный урок, сделать всякую заданную мне работу. Каждый раз я испытывал счастье заслуженной свободы.

Я вырос. Стал прислушиваться к внутреннему голосу. Старался, чтобы этот внутренний голос дозволял мне блаженный роздых, отпускал на какой-нибудь праздник после труда. Словом, в нашем сердце есть невыразимая и неиссякающая потребность в *«субботе».* Но как ее заслужить?

Еврейскую субботу Розанов истолковал как невесту, как женщину. Возьмите ее шире – как радость и красоту вообще. Без этого роздыха жить нельзя. Всякая тварь тащится сквозь горе, отчаяние, недуги, труд, в надежде иметь хоть еще раз в будущем просвет – дожить до чудесной весны, испытать умиленное созерцание ярких зрелищ жизни, согреть одинокое сердце трепетом поцелуя. Работаешь, суетишься, болеешь, исполняешь усердно то, что тебе предназначено, а все-таки про себя думаешь, что главная цель – где-то впереди, и эта важнейшая цель – какое-то счастье. Не отнимайте его у человека!

XXXI

Только тот достоин жизни,
Кто на смерть всегда готов.

Я встретил это неизвестное мне двустишие в газете. Подписано: «Солдатская песня». Ну, конечно. Вероятно, слову «жизни» рифмует «отчизне». Надо воспитать войско в готовности отдавать жизнь за родину.

Сознаюсь, что я не готов к смерти. То есть, готов, потому что вижу перед собою естественный предел, и жду, но… Как это ни странно, юность гораздо ближе к смерти, нежели старость. Юность относится к смерти интимнее, свободнее, легче. Молодому кажется: «Не может быть, чтобы то, что я вижу, было все… Есть еще нечто, кроме жизни». Но старик свыкается с землею, держится за нее поневоле… Жалкое чувство!

Гениальнее всех определил смерть Достоевский: «встреча с Богом»… Испробуйте!..

Один генерал, заговорив со мною о смерти, сказал: «Неприятно менять известное на неизвестное…» И ведь правда!

Великий Пушкин писал:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Один только Лермонтов искренне презирал жизнь, как бы щеголяя своим превосходством над нею, и швырнул ее от себя прочь, «comme un morceau de boue»[13] из-за пустяшной ссоры.

В настоящую минуту «фанатики» революции умирают удивительно. Молодые, цветущие, они идут на убийство и смерть, как на пир. Нарядные, неколебимые. Пусть их называют «фанатиками». Но ведь эта международная кличка придумана людьми только для того, чтобы отделаться от явления неприятного. А все же несомненно, что «фанатики» увлекаются всею душою чем-то для них более ценным, нежели жизнь. Невольно, оставаясь живым, чувствуешь себя мелким перед ними. Конечно, у них была в сердце какая-то великая радость, нам недоступная. Множество из них погибло без имени, полудетьми…

Как во всем, я и здесь чувствую веление жизни. Жизнь внушает им бред счастья в самой гибели. Пускай для них это будет обман. Зато для жизни это необходимость. Иначе ей нельзя

обновляться…

XXXII

Жемчуг считается зловещим подарком, приносящим горе. Таков и дар поэзии, дар искусства. Подобно жемчугу, он есть не что иное, как чарующая нас болезнь измученной души.

XXXIII

Переживание других, в особенности сверстников, становится постыдным. Чувствуешь, что задержался без всякого права, случайно и не надолго. Ждешь казни, как в тюрьме – за какое-то тягчайшее преступление, не могущее вызвать никакой пощады, – хотя его не совершал…

Такова гибель каждой души.

Что же сделают те новые люди, которые народятся после нас и тоже умрут?

Они будут за что-то бороться. Что-то завоюют. Куда-то подвинутся вперед. Насколько?

А вдруг человечество прорвет запретную черту! Найдет средства улетать вверх от земли, отправится обозревать иные миры, найдет секрет узнать весь космос… Ведь человечество божественно. Оно сродни Богу. Поймут ли, наконец, эти твари своего Творца? Найдут ли Его? Что скажут они друг другу? Скажут… Но разве у Бога есть язык? Однако же, «Слово – Бог». Но если даже скажут?.. К чему же тогда существовали мы, прежние, слепые, перенесшие столько неизреченных терзаний?!..

Нет! Тайна остается непроницаемою.

XXXIV

Провидение. Предопределение. Эти слова существуют спокон века. У одного журналиста я нашел более верную форму для того же понятия: «таинственное руководительство судьбы». Да! Во всех общественных и личных делах я его чувствовал. Немногим дано его предусмотреть.

XXXV

За горести рок не кляни,
За радости будь благодарен.

XXXVI

Мы живем не для себя и не для ближних, и даже не для той работы, к которой пригодны, – все мы живем Бог весть для чего.

XXXVII

Старики подобны террористам. Чуть ли не каждый день они читают известия, что тот или другой из них казнен. И поневоле они должны быть храбрыми. Но… какая бесплодная храбрость!

XXXVIII

Ог. Конт признавал своим Божеством Человечество. Но что же такое человечество? Жалкое стадо, бичуемое судьбою. И это Бог?!..

XXXIX

Великие, т. е. новые, озаряющие мысли, приходят людям туго, на далеких расстояниях, в виде исключения.

Не помню кому, кажется Спенсеру, принадлежит удивительное сравнение – приблизительно такое:

Мы так же бессильны вообразить себе Бога, как часы – своего творца, человека. Часы неизбежно должны думать о круге, о стрелках, пружине или гирях, о маятнике и бое. Они никак не могут вообразить себе человека таким, каков он есть. Мозг, совесть, язык, глаза – все это для них недоступно и нелепо. А вот, подите же, человек все это имеет… Куда же нам до Бога?!

XL

Одно из самых обидных и мучительных ощущений старости. Вы убеждаетесь, наконец, с достоверностью, что бесконечная, пестрая и любопытная картина истории опускается пред вами за горизонт. Другие увидят… Что же дальше?!..

XLI

Иногда мне думается, что создание человека было уже безумием Природы. Все, что ниже человека, можно еще назвать простительною прихотью Творца. Камни, травы, цветы, деревья, насекомые, рыбы, звери – их смутное существование похоже на сон. Во сне и мучения и радости поверхностны. Всякие нелепости принимаются просто. Нет ни малейшей критики того, что происходит.

Но дать материи Сознание, Мысль – это уже либо преступление, либо безумие (конечно, только по нашим, заранее вложенным в нас понятиям). И еще ужас, еще пытка! Мы чувствуем ограниченность наших способностей.

Нам сказано: во всем, что есть материя, вы можете добиваться величайших открытий. Здесь вам никаких границ не указано. Один только пустяк вам на веки вечные запрещен: *никто и никогда не узнает, что делается с человеком после смерти.* Это вот и есть запретное яблоко в раю… Каждый ребенок соображает, что ведь яблоко *пустяк,* но какие страшные, несправедливые горести наступают за ослушание!..

Скажут: после смерти *ничто.* О, если бы это было несомненно. Ведь еще Гамлет сказал: кто бы тогда не покончил с собой? Или: после смерти *блаженство.* Тем более!.. Но даже если после смерти *хуже.* Известен рассказ о старухе, которую вынули из петли. Она была недовольна и сказала, что снова будет вешаться. Ей возразили: «Дура ты! А если на том свете хуже?» Она, не колеблясь, ответила: «Я и там повешусь»…

Да. Но поди доищись, довешайся до счастья!..

XLII

Август 1908 года. В этом августе, на расстоянии всего шести дней, столкнулся умерший Тургенев с доживающим Толстым.

22-го чествовалось двадцатипятилетие со дня смерти Тургенева, а 28-го Льву Толстому исполнилось восемьдесят лет.

Я видел погребение Тургенева. Его полированный, розоватого цвета дубовый гроб заграничной фирмы, в виде изящного длинного сундука, был привезен из Парижа. Там над ним сказал прекрасную речь Ренан. Он отметил, что большинство человечества немо для выражений своей сущности. Тургенев был одним из исключений…

Оживленная, громадная толпа сопровождала драгоценные останки от Варшавского вокзала до Волкова кладбища. Тут были женщины, артисты, молодежь – и вся наличная литература, без единого исключения.

В кладбищенском соборе светило солнце. Лакированный сундук, заключавший в себе Тургенева, возвышался над пирамидою зелени. Элегантная дочь Виардо, с мужем, в трауре, заменяла семью. Да семьи тут и не требовалось! Тургенев был родной для всех. Какая-то влюбленность в умершего светилась в каждом лице. Стоявший рядом со мною профессор А. Д. Градовский с сияющей улыбкою обратился ко мне: «Да какая же это смерть?! Это лучше жизни!.. Я бы сейчас лег в гроб вместо него»…

Помню, когда выносили высоко поднятый гроб из дверей собора, мои глаза жадно и нежно следили за этим ящиком: «Лиза, Рудин, Базаров, Ася!»… Бог создает людей умирающих, а художник – бессмертных… Эти похороны были светлым праздником поэзии.

Но прошло двадцать пять лет. И вот что вышло.

Кое-как, усилием газет, напомнили о годовщине. Привлекли к чествованию «городское управление». Заказана была обедня с архиереем (которого на похоронах не было).

22 августа был пасмурный день с пронизывающим холодом. В половине одиннадцатого я поехал на Волково. Ни одного знакомого, никаких экипажей, направляющихся к церкви, я не встретил. Войдя в собор, я нашел его заполненным самою заурядною серою публикой. Я даже подумал, что попал не в ту церковь. Посредине, где прежде возвышался гроб, зияло пустое место. Там был обычный помост для архиерея, покрытый старым, запыленным красным ковром. У одного из углов этого пустого квадрата я увидал доброго Стасюлевича (уже перешагнувшего за

80 лет), украшенного белоснежною бородою, и усталую желтолицую Савину в трауре. Когда-то, на похоронах Тургенева, она была почти девочка. Только эти две фигуры убедили меня, что именно здесь происходят поминки писателя. Впоследствии, усиленно разглядывая толпу, я нашел еще пять-шесть литераторов – не более.

Я застал «херувимскую». Хор Архангельского бесконечно затягивал службу. Духовенство, в белых ризах, давно уже приготовилось к «перенесению даров», а певчие все еще ныли и затихали. Наконец умолкли. Началось шествие. Протодьякон и священники имели вид запуганных волосатых мужиков, рабски возглашавших *государя императора, супругу его, императрицу-мать, наследника цесаревича* и весь царствующий дом. Архиерей повторил эти возглашения. Затем он помянул Святейший Правительствующий Синод и петербургского митрополита, при чем все сослужители пробормотали архиерею возглашение его собственной особы. Архиерей продолжал: «Правительствующий Синклит, военачальников, градоначальников и все христолюбивое воинство… да помянет Господь Бог во Царствии Своем». Этим все уже было исчерпано. В заключение, как бы в хвосте всего предыдущего, точно вспомнив о чем-то почти ненужном, архиерей добавил: «И вас всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем».

Никогда ранее я не чувствовал с такою наглядностью самого жалкого и дикого союза нашей церкви с начальством. Прежде всего власть, а потом люди! Раньше градоначальник, а уже после – человечество! Мне вдруг стало так гадко, что я сейчас же вышел из собора.

Могила Тургенева у самой церкви. На воздухе, среди немногочисленной публики, я встретил еще несколько писателей. Почти вслед за мною вышли из церкви Стасюлевич и Савина и направились к памятнику. Убранство могилы ничем не выделялось. Надгробная плита сильно потемнела от времени. На бронзовую голову Тургенева был нахлобучен широкий венок из мелких лавровых листьев, похожий на шапку из зеленых мерлушек. Некрасиво…

Я уехал, и, судя по газетным отчетам, ничего не потерял.

Было ясно, что прекрасный образ Тургенева заслонен «суетою дня».

XLIII

Юбилей Толстого, 28 сентября 1908 г.

Долговечный, упорный Толстой теперь владеет всемирной славой. Но, говоря словами Толстого, «все это образуется». Ведь 75-летие Толстого прошло совершенно незамеченным. Но в последующее пятилетие произошли события, казавшиеся невозможными. Россия была побеждена Японией. По всей нашей стране разлилась революция, которая теперь уже подавлена. Рикошетом эта революция страшно вознесла Толстого. Распространители его идей и брошюр отсиживали в тюрьмах. Он сам стал проситься в тюрьму. Отлучение его от церкви, после объявленной «свободы совести», сделалось смешным. Изуверы «православия», пользуясь торжеством реакции, проклинали его. Все это сделало из Толстого фетиша революционных партий. Затеялась энергичная агитация для всесветного чествования. Чем труднее было устройство юбилея, тем более горячились и напрягали усилия приверженцы свободы. А тут еще, чуть не накануне юбилея, Толстой написал «Не могу молчать!» против виселиц. Как раньше он просился в тюрьму, так теперь он предлагал правительству затянуть петлею его «старую шею».

Тысячи телеграмм, адресов и проч., проч. Всемирный апофеоз.

Повторяю, все это со временем «образуется».

Все произведения Толстого – колоссальная автобиография. Насколько он силен, как художник, я уже сказал в моих очерках. Если же говорить о его морали, то искание «морали» было в нем крепко-накрепко заложено в самый день рождения. В этом искании – вся сила и трагедия его выдающейся жизни. По-видимому, в разные возрасты и мораль у него была иная. В юности фат, развратник, расточитель. Затем убийца в качестве офицера и охотника. В зрелые годы счастливый семьянин, эгоист, думающий только о себе и своих, совершенствующий свое хозяйство, наслаждающийся литературной работой. А к 60-ти годам кризис, мысль о самоубийстве. И наконец, «своя» религия. Все эти факты я беру из подлинной исповеди писателя.

Только благодаря долголетию, Толстой нашел какой-то выход из преследовавших его ужасов жизни. Он пришел к бесконечному добродушию, к вегетарианству, непротивлению злу и т. д. Но дети, юноши, люди цветущего возраста, т. е. вся закваска человечества, вправе сказать ему: «Да, если доживем до 60-ти, мы будем, как вы».

Убежденное и воинствующее самомнение Толстого покорило

ему простодушные массы людей. Если Толстого и можно назвать гением, то лишь как гениального выразителя общелюдской наивности. Впрочем, он еще удивителен, как художник-самородок. Но если Толстой возомнил себя обладателем «истины», то эта истина – его личная, и только. Он желает подогнуть под нее всех, – конечно, из самых лучших и чистых побуждений, – и однако же, никакого «откровения» он не дал. Он считает всех ниже себя, опять-таки с величайшею искренностью. И ошибается. Чтобы сразу пояснить мою мысль, сошлюсь хотя бы на его отзыв об одном из «младшей братии» – о Чехове. По мнению Толстого, «Чехов недостаточно глубок». Почему же? Неужели потому, что Чехов не ковырялся в себе самом, не резонировал? Нет. Это неверно. В Чехове есть *тайна.* А это и есть глубина.

Преобладающее чувство, вынесенное мною из произведений Толстого – увеличенное отвращение к самому себе. Казалось, я его имел уже достаточно от природы. А он его описал до мелочей и усилил.

Но где же спасение? Все-таки не в Толстом, не в его разрешении всех недоумений жизни. Вопрошающий необъятный гений Пушкина куда выше!..

XLIV

О чем бы ни писал человек, он всегда пишет о себе.

XLV

Все *факты жизни,* сами по себе, удивительны, но все *людские суждения* о них большей частью бессильны, ограничены или даже просто глупы.

XLVI

Синтез – общее, анализ – частное. Один из моих критиков (Сементковский в «Ниве») сказал, что у меня «нет синтетического ума». Сначала я обиделся. Мне показалось, что я урод или калека. Но, вдумавшись, обрадовался, потому что это верно передает мое отношение к миру. Все общее всегда меня коробило. Возьмите «закон природы». Скажем, у вас есть жена или близкая женщина. Вам дорого в ней все то, что в ней свое, и, конечно, ее милый голос. Но вот она рожает от вас ребенка. Начались потуги, и она надсаживается. В этом звуке окончательно исчезает любимое существо: рычит безличная и единая для всех Природа! Точно так же и храп (le râle) умирающего. Здесь опять клокочет нечто, чуждое этому человеку, но общее всем. И разве вас не терзает обида рабства перед слепой и плоской силой, истребляющей все драгоценно-личное?!

XLVII

И жизнь есть Бог, и смерть есть Бог. Недаром в молитве говорится: «Ты бо еси *живот и покой»*…

Удивительны последние слова Шопена (если не выдуманы):

«Приближается агония… Бог оказывает особую милость человеку, открывая ему, что наступила минута смерти. Я удостоен этой милости. Не мешайте мне».

XLVIII

Современники так устроены, что великих людей они считают обыкновенными, а пошлых – великими.

XLIX

Очень трудно найти умного читателя. Все умные читатели сами по горло заняты писанием.

L

Вы уже встречали эту женщину, дважды мелькнувшую в моих записках. С нею посетил я кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. Перед нею заливался я слезами в лечебнице душевнобольных. Быть может, лучшее, что я мог бы сделать, была бы «Книга о любви», где бы я изобразил эту женщину, *Маделену Юнг.* Любовь такая же тайна, как смерть. Но «любовь» знают все. О ней труднее писать. Ничем мужчина не живет так ярко, так одуряюще полно, как любовью к женщине. С основания мира еще не изговорились языки, не исписались перья на эту тему. И так будет продолжаться. И никто не изречется до полноты.

Эта женщина была воплощением моей души. Если бы величайший художник задумал изобразить мою Музу, он бы вдохновенно нашел именно этот женский образ, и никакой другой. Печаль, гармония, тонкая чуткость и безупречная, до радости, красота… Сохранившаяся фотография дает лишь намек на прелесть Маделены. Негатив не передал ее нежного румянца. На портрете нет ее улыбки с глубокими ямками по углам губ, с пленительным сиянием счастья в глазах. Запечатлелись только бессмертно-прекрасные линии ее рук.

Гейне, великолепный иллюстратор любви, желал окунуть Кедр Ливанский в кратер Этны, чтобы затем огненной лавой начертать на небе имя своей возлюбленной. Да! Наиболее любимая женщина, как огненная надпись на голубой бездне, наполняет собою всю поднебесную. Следовало бы говорить ей не «моя милая», а «моя вселенная»…

Пятнадцать лет подряд Маделена заполняла мою жизнь. Первое впечатление было такое потрясающее, что оно сделало полный переворот в моей душе. Убедившись, что она дарит мне свою полную любовь, я еще долго не верил сказочному счастью, засиявшему на моем пути среди недоумений, трудов, болезненной вялости, покорной тоски и непрестанной, мучительной неудовлетворенности… Казалось бы, я уже многого достиг. Пристроился в жизни. Имел хорошую семью, свой угол, свой очаг и даже заманчивый внешний успех. Но внутри что-то грызло меня. Я уже перешел за сорок, а позади не было ни одной минуты, которую бы я не вспомнил без горечи. Я еще не ведал того, без чего не стоит родиться на свет – того самозабвения хотя бы на миг, когда радуешься весь и наполняешься безграничною благодарностью судьбе… За что? За то, что, кажется, будто дошел до главного, до своей цели, до какого-то смысла, объединяющего в нечто целое, – согревающее и единое, – весь холод, всю

несуразную трескотню жизни. Да что же об этом писать!

А вот все-таки тянет… Хотелось бы, шаг за шагом, подробно и ясно, от начала до конца, с упорством и памятью Л. Толстого, восстановить эту громадную, яркую, важнейшую полосу жизни.

Нельзя! И время ушло, и предмет слишком близкий… Быть может, мне удались те страницы, где я переживал далекое прошлое или, как созерцатель, заносил мимо плывущие картины. Но тут, весь, с головы до ног, я жил длительным настоящим, не предвидя ни конца, ни развязки! «Жизнь на самом деле» – тут уж не до писаний!

Все же попробую дать хоть намеки на образ этой обаятельной, исключительной женщины.

Первая встреча… Обладание – и мгновенное чувство необъяснимой, как бы роковой близости. Я боялся сказать себе, что это было взаимно… Весь следующий день ее глаза горели в моем мозгу, ее сердце билось под моею грудью. Я никуда не мог отойти мыслью от нее… Она была мне чужая, в чужом городе, в Москве. Я пробовал говорить себе, что это «приятная случайность», что о происшедшем можно позабыть или, пожалуй, повторить то же самое когда вздумается, в виде развлечения… Вечером, как ни в чем не бывало, я сел в петербургский поезд. И бредил ею всю дорогу!

Через неделю я не мог выдержать и под вымышленным предлогом опять уехал в Москву.

Холодный день 1 мая. С неопределенным чувством я ждал вечера. Вошел в те же комнаты раньше назначенного времени. И, Боже, как застучало мое сердце, когда я услыхал в передней тихие, милые звуки ее голоса. Она говорила полушепотом, но я издали различил сдержанную радость ее разговора… Дверь отворилась, и нет других слов, как слова Тургенева, чтобы выразить эту минуту: «счастье всей моей жизни» шло ко мне вместе с нею!.. Я так обезумел, что, наскоро обняв ее, бросился целовать ее кожаные ботинки. Она нежно смеялась и казалась тоже счастливою. Я говорил ей, что все время воскрешал в памяти ее черты, и все-таки не мог ясно ее видеть. Я тут же зажмурил глаза, чтобы впоследствии легче было вызывать ее образ. И когда их раскрыл, ее живая красота превышала все, что мне мерещилось в потемках…

LI

28 октября – 7 ноября 1910 г.

Толстой бежал из Ясной Поляны. Толстой исчез. Толстой найден. Толстой заболел. Толстой умер.

Необычайная кончина Толстого потрясла весь мир. Она сразу подняла его на недосягаемую высоту, вызвав единодушное изумление всего человечества. Эти две недели, от бегства Толстого до его последнего вздоха, вдруг озарили с неожиданною ясностью значение его гигантской фигуры. Разномыслие между ценителями в нем *художника* и *проповедника* почти повсюду сгладилось. Пред нами остался один цельный, искренний от начала до конца, изумленный человек.

Я «не смываю строк», набросанных мною в 1908 году. Пусть они останутся, как мое искреннее впечатление от момента юбилея. Впрочем, я отнесся тогда к Толстому несравненно осторожнее, чем, например, Мережковский, беспощадно громивший Толстого в своей «критике» за славолюбие, за раздвоение между его проповедью и жизнью.

Бегство или, как называют итальянцы, «фуга» Толстого, до сегодня еще не расследована. Едва лишь намечен какой-то смутный раскол в семье.

Но *порыв* Толстого бесспорен. При его несомненном добродушии и при сознании им той нестерпимой боли, какую он причинял боготворившей его жене, – его отречение от всей мирской тщеты следует признать «героическим», т. е. превосходящим обыденные человеческие силы. Такую решимость могла ему дать только неотразимая вера в *истину* его проповеди. И этот подвиг возвел его на высоту основателя новой религии, – быть может, религии будущего.

Жизнь властно потребовала от него новой Голгофы – и он пошел на нее, как новый Христос. Боюсь, что это сравнение несколько крикливо, но оно здесь невольно напрашивается. Впрочем, думаю, что Льву Толстому его подвиг дался сравнительно легко и совершился без «моления о чаше», по неотразимому велению того Бога, к которому он с такою любовью прислушивался в себе во все периоды своей долгой и переменчивой жизни.

Он чисто по-детски не думал ни о деньгах, ни об удобствах, оставляя свой дом для какого-то неведомого уголка на земле. Но один из микробов, миллиардами кишащих в природе, тех микробов, над которыми работает Мечников (вероятно, «стрептокок»), – влетел в Толстого, расплодился в его крови, и

Толстой умер.

Так объясняют нам его смерть ученые. Но Толстой отрицал все науки и никакой опасности не боялся. Его последние слова были: «Ну, вот и *конец.* И *ничего».* Что значит это «ничего»? Значит ли оно: «От меня больше ничего не остается: я обращаюсь в *ничего»?* Или же это было то истинно русское, осмеянное Бисмарком «ничего», которое означает: «Не велика беда и смерть. Перенести можно!»

Так или иначе, Толстой умер с твердостью. И даже после тех прощальных слов он успел сказать окружающим, что следует заботиться не только о нем, но и о миллионах людей, страдающих на земле.

Дальше он потерял сознание.

А тут-то и заключается секрет…

Вся религия Толстого выражается в четырех словах: «Царство Божие внутри нас». Нет Бога вне людей, он существует в каждом из нас. Это – величайший социализм! Я не философ и в особенности плохой теоретик, но я чувствую, что зерно толстовской религии очень живуче… Оно может в будущем искоренить не только казни, но и войны, да и вообще насилие, потому что ведь *в каждом человеке Бог,* а как же после этого – не то что убивать, но даже мучить Бога?!..

Теперь, когда миссия Толстого закончена, приходится снять с него все до единого упреки и подозрения. Здесь я лишний раз убеждаюсь, что судить людей вообще, а живых в особенности, невозможно. Оказывается, что переписка со всеми частями света, приемы, беседы и наставления в Ясной Поляне обусловливались не славолюбием Толстого, а неотразимою потребностью распространять свою веру для блага всего человечества. Отрицание почти всех писателей и художников слова было вызвано у Толстого не самомнением, а искренним убеждением, что вся беллетристика вообще ни к чему не ведет. И что же? Изумительная настойчивость Толстого принесла громадные практические результаты. Его добрая, искренняя душа сделалась близкою всем людям. Общелюдская наивность повсюду откликнулась на зов «своего гения». Уже и теперь сделаны великие победы этим, еще невиданным завоевателем. Взять хотя бы нашу церковь! Ведь она, со смертью Толстого, оказалась решительно «на мели». Народ от нее отхлынул. Произошел даже раскол между церковью и государством. Синод запретил молитвы о Толстом, а государь молился за его душу. Тут же, кстати, получили признание и первые в России «гражданские похороны», отныне утвержденные самою жизнью.

А сколько еще впереди, в «долготе веков», будет звучать

загробный голос Толстого? Кажется, до незримой бесконечности будет цитироваться этот вероучитель общежития в судах, в конгрессах мира, будет волновать военных, будет мутить и преображать правителей и т. д., и т. д. Словом, конца-краю не видать живучести среди людей громадной тени этого феноменального человека. Не человек, а «Явление» (выражение, слышанное мною в литературных кружках) – «Глыба!» (тоже кто-то сказал).

Да, скажу я, Глыба, или гигантская Гора, чистая снежная вершина, на которой, однако, жить все-таки невозможно…

Вот почему меня никогда не тянуло повидать Толстого. Та истина, которую он думал утвердить своею верою, была слишком чужда моей природе. Спорить с этим силачом было бы бесполезно. Заимствовать же от него я ничего не мог.

Рассудочность толстовского учения уничтожила для меня его смысл. Толстой верил, главным образом, в Совесть и Разум. Но – Сердце! Его сердце ведало только доброту.

Но страсть, но самозабвение – привязанности более ценные, чем сама жизнь, бесплотные мечты, неизреченные тайны Красоты, сулящие тот обман, который дороже тысячи истин!.. Да и что такое Истина? Кто ее нашел? И не опустел ли бы сразу весь земной шар, если бы она была найдена?

Тайна жизни – вот что мнил раскрыть и превозмочь Толстой. Но титанические усилия его необычайного Духа ни на единую черточку не сдвинули с места этого вековечного Запрета…

LII

Сентябрь, 1911 г.

Убили Столыпина. Трагедия сильного, талантливого человека. Удивительна эта карьера, всего за какие-нибудь шесть лет, от Саратовского губернатора почти до Российского императора.

К открытию первой Думы Столыпин был взят из губернаторов на роль министра внутренних дел. Сквозь крики: «Вон! Вон!» Столыпин предварял первую Думу напряженным голосом: *«Я обладаю всею полнотою власти!».*

Он чувствовал в себе эту власть… Вторую Думу он уже в качестве премьера встретил предварением: *«Не запугаете»*, а в третьей – у него явились *«волевые импульсы»* и *«нажим на закон».* Этими четырьмя фразами обрисовывается вся политическая деятельность Столыпина. Сперва усмирение, с наилучшими либеральными надеждами, а затем опьянение своею властью и самоуверенный произвол.

Политическое значение Столыпина меня мало интересует. Этот вопрос можно разбирать на всякие лады. С одной стороны – успокоитель, патриот, а с другой – вешатель, властолюбец. Не в этом дело. Важнее всего индивидуальность, личность. Человек, во всяком случае, решительный, эффектный и неизбежно трагический от начала до конца. Вначале взрыв на Аптекарском острове, когда погибло столько людей, когда были искалечены дети Столыпина, и в конце: небывалое по своей сценичности поражение пулею на парадном спектакле в Киеве.

Между этими двумя катастрофами Столыпин развернулся и вырос, как я уже сказал, почти до монарха. Из провинции он вышел и в провинцию вернулся после красивой жизни в царских дворцах Петербурга и красивых речей в обеих Палатах.

Человек трагический потому, что в его глубине таилось *раздвоение,* т. е. такое свойство, которое, по справедливому правилу всех учебников, составляет главную основу трагедии. Политика Столыпина была национально-дворянско-земельно-монархическая. А выступил он в разгаре пролетарского, социального бунта. Предстояло неизбежное столкновение прогресса и реакции европейской образованности министра с теми кровными, «исконными началами», которые были заложены в его натуре. И его перетянуло в сторону отживающего абсолютизма.

Столыпину приписывают «успокоение». Но чем же оно было достигнуто! Среди прочих афоризмов, Столыпин сказал: «Бунт

подавляется силою». Но ведь подобное успокоение удалось и Виленскому-Муравьеву, прозванному «вешателем». И действительно, хотя при Столыпине было казнено революционеров несравненно больше, чем при Муравьеве и даже при Грозном, Столыпин как-то совсем этого не чувствовал. Будучи неустрашимым, он не придавал ни своей, ни чужой жизни особой цены.

Он был увлечен своей «честной» идеей, каким-то благородным культом сильной власти, приносящей несравненные дары «отечеству», сбитому с пути бредом смуты. Всех побеждала личная искренность премьера. После опыта двух первых Дум, Столыпин не поколебался сделать громадный переворот и прорвал зияющую дыру в партии 17 октября: вне закона всеобщая подача голосов была отменена. Создалась заведомо консервативная третья Дума. Вот тут-то, при открытии третьей Думы, Родичев и сказал свою лучшую, разительно сильную речь, поставив премьеру на вид количество виселиц. Народная память заклеймила виселицы Муравьева неизгладимым определением «Муравьевский воротник». И Родичев невольно бросил в аудиторию «Столыпинский галстук»… Поднялся неистовый шум. Столыпин смертельно побледнел. Чуть не произошла дуэль. Родичев как-то загладил свои слова. Но, вероятно, Столыпину хоть на минутку почудилось, что, пожалуй, потомство припишет ему все виселицы, о которых он, в сущности, вовсе не думал. «Карательные экспедиции» и казни были заведены ранее его восхождения на высший пост и продолжали действовать сами собою.

История создала перед Столыпиным обманчивую обстановку. Он думал, что его сильный характер принесет благо «родине» и что именно его работа способна обуздать революцию. А между тем, все «великие потрясения» разбились вовсе не перед его каменною волею. «Потрясения» эти отхлынули не благодаря Столыпину, а исключительно потому, что *физическая сила,* решающая судьбу всякого бунта, т. е. *армия, осталась на стороне монарха.* Ведь за исключением психопата *Шмидта* и мальчика *Никитенко* во флоте, все войско, в громадной массе, не поддалось революции.

Однако по наружному виду революция все еще казалась грозною во время первых двух Дум. И личность бесстрашного премьера, державшегося какой-то своей линии среди еще не заглохшего террора, понемногу крепла в глазах обывателя. Но вот, когда вторая Дума, не запугавшись слов премьера, продолжала пугать общество своею революционною непримиримостью, – Столыпин ее распустил. И совершилось то

единственное, что, быть может, было практически удачным со стороны Столыпина: явился незаконный закон 3-го июня об отмене всеобщего избирательного права.

Уже тогда Столыпин сознавал некоторую преступность этого акта и (как пишет теперь, после убийства, его брат Александр) оставил на имя своего сына пакет для потомства, в разъяснение сделанного им шага. Прогрессист Столыпин, вероятно, оправдывался перед своим сыном побуждениями «патриота». И – странное дело – в этой третьей Думе, перед которою Столыпин ораторствовал как наставник, сверху вниз, – у него оказался неприметный противник, сделавший истинно прогрессивное завоевание. То был Алексеенко, взявший в свои руки народные деньги. Если бы не закон 3-го июня, Алексеенко не прошел бы в Думу. Но когда он в нее попал, то благодаря ему, народное представительство уцепилось за «кошелек» власти. И этим был положен предел фантазиям Столыпина, постепенно клонившимся в сторону абсолютизма.

Одна могущественная сила – *армия* – помимо Столыпина, осталась на стороне бюрократии. Зато другая, едва ли не равная ей – *капитал* – благодаря Алексеенке, – невозвратно перешла во власть народа. Чиновники почувствовали в Алексеенке мудрого и сильного защитника народных средств, превосходно знающего всю технику бюрократических изворотов, прикрывающих произвол и мотовство.

Государь узнал о трудах Алексеенки только за границей, где его неожиданно поздравили с небывалым улучшением финансов. И у царя осталось убеждение, что народное представительство доказало свои несомненные заслуги.

Что революция отхлынула сама собою, без всяких заслуг со стороны премьера, лучше всего доказывается обнаруженным после его смерти устройством охраны. Оказалось, что охрана не только была бессильна водворить порядок, но, напротив, благоприятствовала продолжению террора. Однако же, террористические акты постепенно затихли. Значит, не хватило борцов. Значит, по условиям жизни, они выродились. Столыпин был тут ни при чем.

Между тем, личное бесстрашие Столыпина гипнотизировало и бюрократию, и публику. Царь и царица начали в него верить. Им поневоле приходилось видеть в нем талисман, оберегающий от всяких катастроф. С другой стороны, и Столыпин, видя перед собою государя более смелого, окрепшего в глазах страны, вообразил, что успокоение народа совершается именно потому, что в нем возрождается культ прежнего монарха. И, неприметно для себя, Столыпин стал переделывать конституционного

императора в отмененного историею Самодержца. Союз русского народа, Марков 2-й и Пуришкевич, Илиодор, открытие разных мощей – все это им поощрялось.

Символ неограниченного монарха делался все более и более близким его сердцу. Он неудержимо возвращается к старине. Дворянское «служилое сословие», с которым он был кровно связан «столбовыми» предками, воодушевляло его. Ясная формула Набокова «исполнительная власть да подчинится власти законодательной» сделалась для Столыпина абсурдом. Он усвоил обратный девиз: «законодательная власть да подчинится власти исполнительной». В конфликте с законодательными учреждениями, из-за своей упрямой идеи о земстве в Западном крае, Столыпин скрутил обе Палаты в бараний рог. Правда, он подавал в отставку, но твердо знал, что без него царь не обойдется и подпишет что угодно. И не ошибся. Его противники в Государственном совете подверглись опале. 87-я статья Основных законов была изуродована. Словом, вся конституция полетела к черту! Дальше идти было некуда…

Но умирал Столыпин как человек с громадною силою воли. Заботился не только о всех близких ему людях, но и еще более – о государственных вопросах, столь узко, но эффектно им намеченных. Театральность не покидала его и в эти страшные часы. Он успел выразить желание, чтобы его похоронили в Киево-Печерской лавре рядом с Искрою и Кочубеем… Это великолепно! И, пожалуй, в смысле исторической памяти, это самое прочное, что он сделал.

РЕЛИГИЯ

Последнее заседание Шекспировского кружка собралось у Вейнберга на реферат Мережковского о божественности Христа и бессмертии души. Мережковский говорил с подкупающею искренностью, не допускающею возражений. Его беседа, выслушанная среди общего молчания, в некоторых местах вызывала лишь невольные стоны со стороны Боборыкина, который, однако, в прениях после беседы не участвовал. Спасович кратко возразил: «Для меня вопрос о загробной жизни *серое пятно,* Я ничего не знаю…» Леонид Полонский заметил: «По-видимому, задача Природы состоит в том, чтобы *делать* и *разделывать*…» Больше никто не говорил. Мережковский остался милым одиноким ребенком среди собравшихся судей.

Много лет после этого собрания Д. В. Философов, читавший почти всю мою книгу, говорил мне: «Интересно было бы видеть,

как это вы, так искренно признававший Христа истинным Богом в детстве, впоследствии потеряли эту веру!»

А вот как.

Я верил всему, что мне говорили. В поэме «На утре дней» рассказана моя детская вера. В деревенской церкви (в Веселой Горе), на литургии «преждеосвященных даров», я падал ниц, зажмурив глаза, и пока над моей головой раздавались звонки, возвещавшие, что «дары» переносятся, я был убежден, что в храм нисходит легким призраком сам Христос, и я был счастлив от его достоверной близости ко всем нам, здесь, на земле, в эти захватывающие душу мгновения… Моя вера сохранилась до отроческих лет и была еще нетронутою во время смерти сестры Маши. Все, что мне передавали старшие, казалось ясным. Человек отличается от животных тем, что его душа бессмертна. Христос избавил людей от «первородного греха», и каждый, живущий согласно с заповедями Божиими (Отца и Сына), получит райское блаженство.

Но дальше я узнал науки: астрономия, геология, химия, анатомия… Библейские семь тысяч лет с сотворения мира исчезли. Земля оказалась ничтожною планетою, а не центром Вселенной… Вместо «души» получился «мозг»… Да и почему же на одну только Землю сошел Христос? Или Он нисходил и на все прочие планеты? А какие существа живут в тех мирах и т. д.? Выходила путаница… Мои сверстники по гимназии и, в особенности, по университету, поголовно были чужды религии. Детская вера затуманилась – и отошла от меня…

Но христианство живуче. Быть может, оно останется на очень долго, если не навсегда – единственною практически возможною религиею в нашем мире. Бог сжалился над человеком, воплотился, пришел на землю и дал вечное утешение людям. Евангелие есть неподражаемая поэма скорби и света. Пусть это будет легенда, но лучшие народы земли уже почти две тысячи лет живут и умирают под обаянием святой сказки. Чего стоит один «Отче наш» – эта исчерпывающая молитва! А заповеди блаженства? А Евангелие от Иоанна, читаемое на погребениях?

Нужен какой-нибудь конец, какое-нибудь разрешение вопросов, чувств и терзаний, которыми преисполнено человечество. Христианство его дает в пленительных словах, живучих, как истина…

Однако дожить до чуда, до вожделенного конца, до пришествия на землю Бога, который будет судить «живых и мертвых», никому не удается. И удастся ли?!.. У евреев Мессия всегда еще впереди. У них надежда крепче… Но если Мессия уже был, и ничего не вышло, то закрадывается невольное сомнение на

счет Мессии. И все-таки слова Спасителя звучат, как высшая поэзия здешнего мира. В иные минуты каждому хочется им верить…

Во всяком случае, есть Сила, настолько неизмеримо высшая всех наших понятий и способностей, что самые дерзновенные из нас перед нею совершенно ничтожны. Что это такое?!.. И опять, мне кажется, правы евреи, что они не дерзают даже назвать ее. У них перед этою Силою такой благоговейный трепет, что запрещено обозначать ее каким бы то ни было словом!.. Природа, Судьба, Жизнь, Тайна – все вместе – *Бог!*

Замечательно, что ни один из величайших поэтов не воспел Христа, как своего вожделенного Бога. Вам это покажется странным, но я скажу, что лучшие стихотворения о христианстве, какие я знаю, принадлежат Вере Рудич.

Вот они:

1

Распростерли кресты придорожные руки молящие
Над полями, где волнами ходят колосья шумящие,
Над межою, заросшей полынью и белою кашкою,
Над зверьком полевым, над веселою пташкою,
Над безвестной могилой, травою ползучей обвитою,
Над тропинкой, ногами прохожего люда убитою,
Над людьми, что куда-то спешат по дороге, тревожные,
Распростерли молящие руки кресты придорожные.

2

Нам путь один для всех – вперед и выше!
И тем путем все сущее идет.
Смелей вы шли, идут другие тише,
Но всех равно обитель правды ждет.
Не бейте ж вы каменьями отсталых,
Чьи ноги тонут в прахе и грязи:
Без гнева ждут у Бога запоздалых,
И там в одну сольются все стези.

Здесь чувствуется умилительное, божественное страдание Христа за все, живущее на земле, с его казнью на кресте, с его

распростертыми к небу молящими за землю руками, с его нежностью ко всякой мельчайшей твари… Здесь вера в правосудие Творца.

Мне всегда были чужды бодрые позитивисты, возглашавшие могущество человека. Изречение: «Человек – это звучит гордо!» – для меня звучит глупо. Напротив, «человек» – звучит трагично. Ему одному суждено на земле работать над ужасами Хаоса. И никто не может сделать большего против того, что ему отпущено Природою. «Мозги» или «Души» отдельных людей созданы тою же Природою, помимо воли и заслуги этих людей.

Все предопределено помимо нас.

Возьмите цветочное семечко, крошечное, темное, глянцевитое. Догадайтесь, что из него выйдет? Заройте его в землю. Над ним начинают трудиться разные силы: навоз, дождь, воздух, солнце… Все эти силы действуют слепо. Каждая могла бы думать, что ей принадлежит главная роль, и, однако, ни одна из них не могла бы предсказать, что выйдет в конце. А выйдет именно то, что заложено в семечке. И вот высовывается первая бледно-зеленая ниточка; подымается стебель; отделяются нежные листочки, выкроенные по неожиданному, заранее определенному рисунку; завязываются бутоны – и, наконец, распускается цветок: четыре розовых лепестка, внутри темно-зеленая чашечка, из которой свисают к земле длинные розовые нити с такими же тычинками, – *фуксия.*

Так и все в жизни.

Так и мы, подобно навозу, дождю, воздуху и солнцу, работаем, каждый в отдельности, и думаем, что имеем свою волю, а между тем где-то впереди, из всей нашей суеты, выйдет именно то, что было предначертано заранее. Возникнет то, что едва ли мы увидим… Возникнет – и вновь исчезнет, как увядший и отпавший цветок.

В одном из своих бесчисленных фельетонов Розанов гениально сказал: «Все *непонятно* и все *необходимо».* Здесь найдены удивительные, исчерпывающие слова, выражающие *предопределение.* Не *Промысел Божий,* якобы заботящийся о благе людей, а именно – предопределение, т. е. непостижимую Судьбу, Рок… Незаслуженные страдания, гибель Красоты и Добродетели, зверства и подвиги людей – откуда все это берется? Кто может гордиться и кого можно осудить? Каждому все дано от Природы.

Бог – стихия, Бог – ужас, Бог – Радость и Бог – Красота. И все мы в его власти. Он где-то засел внутри каждого из нас и всем ворочает. Он повсюду – и в живых тварях, и в загадочной материи.

Скажут – это фатализм. Такой взгляд убивает энергию и ведет

к бездействию. Неправда. Сила жизненных велений такова, что самый отчаянный фаталист будет с неутомимым усердием и кажущеюся независимостью исполнять неизбежные предначертания Рока.

Все непонятно! Действительно. До чего же додумались наши величайшие мыслители? Сократ: что он ничего не знает. Шекспир: «Есть много такого, что и не снилось нашим мудрецам». Кант – что он кое-что невозможное допускает. Да ведь и вообще все наши умственные способности так ограничены.

Все необходимо. Вдумайтесь – и вы увидите, что все наступившее, как бы оно ни было горестно, – раз оно совершилось, – начинает нам казаться разумно-неизбежным…

Какая-то необъятная сила всем управляет:

Дух всюду сущий и Единый,
Кого никто постичь не мог,
Кому нет места и причины,
Кого мы называем Бог! (Державин)

Интересно, что Л. Толстой, отрицая вообще все науки, считал глупостью и астрономию! Он так заботился под старость о каком-то вялом, «непротивленческом» добродушии исключительно на земле, что совершенно отделял себя от Вселенной. Притяжение луны, предсказания с точностью затмений – это нисколько не поражало его ум, не удивляло его, не поднимало его взоров к небу. Он, как и Тургенев, любуясь природой, имел в виду леса и поля Тульской или Орловской губернии. Существующая в небесных сферах природа и обитатели иных планет ни того, ни другого нисколько не интересовали. Тургенев, оплакивая грядущее замерзание земли, с отвращением предавал себя хаосу… Я еще возвращусь к вопросу о Вселенной.

Все непонятно.

Мы видим на земле чудеса на каждом шагу. Вся природа гораздо фантастичнее всех наших сказок с их крылатыми призраками и загробными тенями. Воплощения нашей фантазии в придуманных фигурах всегда мне казались слабыми. Греческая и римская мифологии создали чудесные, выразительные и глубокие, а в особенности красивые воплощения человеческих идей. Христианские ангелы в венках и женских одеждах или в латах и с мечами тоже недурны в своем роде. Но на всем этом слишком заметен штемпель человеческий, т. е. ясно, что все сверхчеловеческое и непостижимое толкуется и переделывается на наш образец. А подлинная природа куда прекраснее! Солнце, луна, облака, горы, волны, леса, даже отдельные деревья – все это

с нами говорит невыразимым языком, и нам кажется, что мы, наедине с природою, вполне понимаем друг друга и можем разговаривать без конца… Поэты и писатели выбиваются из сил, надрываются, чтобы сколько-нибудь ясно поделиться с людьми своими ощущениями от нашептываний и внушений содружественной и исцеляющей близости к нам природы.

Что же говорит христианская религия?

Вот церковные тексты, оставшиеся милыми для моей души и поныне: «Всякое дыхание да хвалит Господа». «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». «Ни один волос не упадет с головы нашей без воли Всевышнего». «Пути Всевышнего неисповедимы».

Мы видим, что «всякое дыхание», вся тварь Божия находит в своей жизни какую-то чудесную отраду. Есть рыбки-однодневки: выползет из икры, заиграет хвостиком, резвится, вьется и радуется, а к вечеру уже помирает. Есть мошки, кружащиеся целыми тучами в напряженной суете и живущие всего несколько минут. К чему?! Все непонятно и все необходимо. На то воля Божия. И это общая участь всего живущего… И вот почему все живущее должно соединяться во взаимной любви.

Что же это? Пантеизм? Слитие с природой и безмолвное растворение в ней? Нисколько! Для меня это дружное соединение всего сущего для обожания Творца или, вернее, того Существа Необъятного, Непостижимого, которого не дерзает назвать наш язык, но которому мы покоряемся не поневоле, а с доверием и любовью. Его веления непонятны, но, очевидно, необходимы.

Еще, пожалуй, мы можем распознать кое-какие причины того, что нас окружает в нашем обиходе. Но *цели* всего, нами созерцаемого, для нас непостижимы… Говорят, природа задается только одной целью – «делать и разделывать»! Но, во-первых, это слишком пустое занятие для Божественной Силы, а, во-вторых, – и неверно. Потому, что хотя основные свойства человека как будто остаются теми же во все века, но вместе с тем нечто в «образе нашей жизни» меняется до того, что наши отдаленные предки просто-напросто не узнали бы нашего мира и увидели бы чудеса, которые им и не снились. Значит, творится нечто, идущее вперед и достигающее некоей неведомой нам *цели.* Но жизнь наша слишком коротка, чтобы вы смогли хотя бы кое-что разгадать в этих планах Творца.

Возьмите Дарвина с его «Происхождением видов»: по его мнению, человек вышел из обезьяны. Но если так, то почему же человек – «венец творения»? Если гады, земноводные и вообще всякая допотопная тварь древнее человека, то ясно, что усовершенствование видов пойдет дальше. Возможно, что и

человек, подобно всем предыдущим типам организмов, – заменится чем-либо более совершенным – будет, например, обладать «четвертым измерением» и т. п. И неужели это будет заслугою человека («человек – это звучит гордо»), а не творчеством природы?!..

Говорят еще о нашей – «свободной воле». Какое сумбурное «учение»! Где же эта свободная воля, когда *помимо нашей воли* мы рождаемся и *вопреки нашей воле* мы должны умирать! И это во веки! И этого не переделаешь… Значит, покоряйся воле Всевышнего.

А зло? А ужасные и, по-видимому, несправедливые страдания? Неужели и это все от Бога?! Не вдаюсь в наши помыслы о Боге и Дьяволе, о добре и зле. Вижу, что и горести имеют свое тайное значение. Не ценилось бы добро, если бы не было зла; не была бы для нас великим сокровищем радость, если бы мы никогда не знали горя. Всякое однообразие притупляет нашу восприимчивость. Значит, все это вместе дается свыше и почему-то необходимо.

Самый страшный вопрос: что ждет нас после смерти? Увидим ли мы своих близких и самых драгоценных для нашего сердца? Обнажится ли «на том свете» перед ними наша душа до совершеннейшей глубины, до которой здесь, на земле, не проникал никто из них? И легко ли это нам будет? Не ужасно ли? И уцелеет ли между нами любовь?! И видят ли с того света близкие нам существа нашу измену их памяти? Прощают ли нас? Страдают ли? («Заклинание» Пушкина, «Любовь мертвеца» Лермонтова).

* * *

Обращаюсь к нашим представлениям о Вселенной.

Возьмите Микроскопию и Астрономию. С одной стороны, вокруг и внутри нас невидимые простым глазом живые существа. С другой – над нами, весьма плохо видимые в сильнейшие телескопы нескончаемые планеты, несравненно более интересные и значительные, чем Земля.

Микробы могут убить человека. Когда горит наша кровь, надо истреблять микробов, то есть спасаться, убивая их. В таких случаях я часто говорил доктору: «Хорошо. Я спасусь. Но ведь они погибнут. Справедливо ли это? Возможно ли? Чем я лучше и важнее их?» Впрочем, про себя я думал: «Если я на этот раз останусь жив, то лишь по воле Божией. А от тех микробов, которым суждено меня в конце концов одолеть, никто меня не

спасет». Кстати, Вл. Соловьев отрицал всякое лечение, ибо, как он говорил, «болезни от Бога»…

Астрономия ведет в другую тайну. Земля – пустяк. Небо бесконечно… Я уверен, что каждый астроном ближе к Богу, чем любой священник. Не допускаю, чтобы Глазенап, пишущий в «Нов времени», принадлежал к какой-либо политической партии. Однажды, когда я защищал Розанова по литературному делу, в перерыве заседания мы разговорились. Я ему сказал:

– Недавно Глазенап напечатал у вас поразительную вещь. Вы не заметили? Он пишет, что через 220 тысяч лет звезды «Большой Медведицы» будут видны с Земли на 1/10 более крупными против их теперешней величины. *Через двести тысяч лет!* Подумайте! Ведь тогда не только Эртелева переулка, но никаких следов России, и даже памяти о ней не будет! Ведь этакое известие, как динамит, взрывает всю «редакцию»!.. – Розанов был ошеломлен и долго смеялся, повторяя с наивным детским смехом: «динамит, динамит!»

Мои думы о Вселенной невольно подрывают для меня легенду о «сотворении» и о «кончине мира». И вот почему. Уж слишком это похоже на нашу человеческую ограниченность. Выше я назвал Бога Творцом, следуя библейской терминологии. Но для того, чтобы это признать, нужно допустить, что сперва ничего не было, а затем явился Бог и «сотворил». Мы привыкли видеть, что всему есть начало и конец. Нашу природную узость мы переносим на Бога. Мы даже вообразить себе не можем что-либо такое, чему бы не было начала. А ведь Он «Предвечный»! Ему нет начала. И пустоты перед Ним не могло быть. Да и сам Бог не личность. Он – нечто Непознаваемое, без начала и без конца. От одной этой мысли охватывает ужас! Вселенная всегда была, всегда будет!.. Люди сочинили «надзвездный мир» совсем по-своему, – какой-то потолок над Вселенной, за которым помещается «розовый и голубой» рай… Но у Вселенной нет пределов. И это новый непостижимый ужас!

На крыльях моей мысли, – не нуждаясь ни в тургеневской «Эллис», ни в «аэроплане», – я облетаю Вселенную. Миры мелькают передо мною… Для меня исчезли расстояния между ними… Густая метель звезд… Ни вверх, ни вниз, ни во все стороны концов не видно… Меня охватывает безумие! Я содрогаюсь от своего ничтожества, беспомощности и безнадежности. Нет центра, нет вершины, нигде нет Бога!..

Не было начала. Нет и не может быть всему этому конца…

Помню, моя несчастная Маделена бредила «кончиной мира». Ей всюду виделся огонь. Арестанты в цепях казались ей грешниками, отправляемыми в ад. В ее дивных глазах светилось

глубочайшее, нечеловеческое страдание. При ней, для успокоения, сидела добрейшая З. А. Венгерова, которая вынуждена была ей поддакивать.

Она спросила:

– Alors c'est la fin du monde?
– Oui, c'est la fin.
– Alors le monde va finir?
– Mais oui, il va finir.
– Et qu'est ce qu'on fera ensuite?[14]

Венгерова говорила мне, что от этого вопроса она совершенно растерялась…

Где же Бог?

* * *

Возьмем поэзию, литературу. В моих этюдах о Лермонтове, Достоевском и Толстом приведены глубочайшие исследования о религии. Но уже после моих очерков мне попалось одно письмо Толстого о вере к какому-то священнику – лучшее, что он об этом написал:

«Получил ваше письмо, любезный брат Иван Ильич, и с радостным умилением прочел его. Все оно проникнуто истинно христианским чувством любви, и потому оно мне особенно было дорого. О себе скажу вам следующее.

В одной арабской поэме есть такое сказание:

„Странствуя в пустыне, Моисей, подойдя к стаду, услыхал, как пастух молится Богу. Пастух молился так: „О Господи, как бы мне добраться до Тебя и сделаться Твоим рабом. С какой бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Тебе волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. Желает Тебя мое сердце“.

Услыхав такие слова, Моисей разгневался на пастуха и сказал: „Ты богохульник, Бог бестелесен, ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь дурное“.

И омрачилось сердце пастуха. Не мог он представить существа бестелесной формы и без нужд телесных. И не мог он больше молиться и служить Господу и пришел в отчаяние. Тогда Бог сказал Моисею: „Зачем ты отогнал от Меня верного раба Моего? У всякого человека свое тело и свои речи. Что для тебя не хорошо, то для другого хорошо; что для тебя яд, то для другого

мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко Мне обращается“”.

Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы вас смотреть на меня, как на этого пастуха. Я и сам смотрю на себя так же. Все наше человеческое понятие о Нем всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце мое – такое же, как и этого пастуха, и потому боюсь потерять то, что имею и что дает мне полное спокойствие и счастие.

Вы говорите мне о соединении с церковью. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся с ней – не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лаодзе, Конфуция, браминов и многих, многих людей.

С этой всемирной церковью я никогда не разлучался и более всего на свете боюсь разойтись с ней.

Очень благодарю вас за ваше любовное письмо и братски жму вашу руку».

Впрочем, Толстой, как я уже часто говорил, в последние годы своей жизни настолько смешал свой природный мистицизм с общественными и даже революционными задачами, что им залюбовались и к нему невольно примкнули все позитивисты и политики, совершенно чуждые религии.

Даже Боборыкин и Мечников пред ним по-своему преклонялись.

Я ставлю Боборыкина гораздо выше Мечникова и беру их вместе лишь как непреклонных служителей «научного миропонимания».

Боборыкина я знал близко. Всегда пользовался его неопределенною, как бы невольною слабостью ко мне. Les extrêmes se touchent![15] И все же нам пришлось разойтись. Разойтись потому, что в решительную минуту, на его юбилее, я высказал ему правду… Мы слишком чуждые натуры.

Боборыкин в своем роде поразителен. Еще Тургенев сказал о нем, что даже во время «светопреставления» он будет на обломках дописывать страницы самого современного романа… Так оно и есть. Боборыкин и поныне не боится ни катастроф, ни смерти. Его бодрость, образованность, трудолюбие колоссальны. Его вера в науку столь же фанатична, как вера Галилея в учение о вращении земли вокруг солнца. И, быть может, Боборыкин, один на целом свете, обладает истиной…

Мне странно только одно. Боборыкин преклоняется перед Пушкиным. Еще бы! Боборыкин слишком «писатель», чтобы не видеть в Пушкине величайшего волшебника слова. Боборыкин

заучивает на память «Евгения Онегина»… И вот – на Пушкине я его ловлю.

Для своего учения он пользуется *всего одной цитатой: «Да здравствует разум! Да скроется тьма!»*

Ergo – Пушкин научный позитивист!

Но, позвольте! В том же «Онегине» сплошь и рядом говорится: «свыше», «воля Провидения» и т. д. А в других произведениях?

Надгробная надпись князю Голицыну

Отрадным ангелом ты с неба к нам явился
И радость райскую принес с собою нам;
Но, житель горних мест, ты миром не прельстился
И снова отлетел в отчизну к небесам.

Эпитафия сыну декабриста Волконского

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Стихотворения «Ангел», «Пророк», «Монастырь на Казбеке», «Воспоминание» – все мистичны. В последнем прямо говорится «о тайнах вечности и гроба».

А песня в «Пире во время чумы»?

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.

Ясно, что здесь говорится о *личном бессмертии,* а не в смысле славы, потому что в погибели от чумы, помимо своей воли, нет никакой заслуги.

Наконец, на упрек Филарета в религиозных сомнениях Пушкин восторженно ответил:

Твоим огнем душа палима
Отвергла *мрак земных сует,*

И внемлет арфе Серафима
В *священном ужасе* поэт.

Итак, Пушкин, вопреки Боборыкину, весьма склонен к мистицизму.

Не знаю, насколько Боборыкин мирится с *Богом* в произведениях Гёте, Байрона, Лермонтова, Гюго, Достоевского. Но удостоверяю, что сам Боборыкин в слове «Бог» никогда не нуждается и этого слова не признает. Раньше, до юбилея, на котором мы с Боборыкиным разошлись, он даже никогда не писал слова «душа». Впоследствии он его принял – вероятно, не более, как понятие, уже принятое «психиатрией». Но «Бог» – никогда! Атеист беспримерный в том отношении, что он в то же время знаток и поклонник всех искусств, отзывчивый ценитель всего прекрасного.

Понятно поэтому, насколько Мечников мельче Боборыкина. К беллетристике и поэзии у Мечникова ни малейшего обоняния. Ничто так не преуменьшило Мечникова в его громадной ученой славе, как его статьи о Толстом, отзывы о Гёте, Байроне и Метерлинке. Здесь-то и обнаруживается весьма ограниченный лабораторный труженик, хотя почтеннейший и полезнейший продолжатель работ, созданных Пастером. Идея продлить человеческую жизнь до 250 лет поражает своею, так сказать, бестолковостью. По Мечникову, нужно жить 250 лет, чтобы избавиться от страха смерти, ибо почему-то лишь по истечении этого срока страх исчезнет и человек настолько утомится жизнью, что пожелает смерти. Значит, только в середине третьего столетия этот страх прекратится… Французские публицисты справедливо указывали Мечникову, что его старец едва ли кому нужен и что он будет бременем для общества… Но кроме того, ведь помимо Мечниковской простокваши и ухода за кишечником, для достижения *бесстрашной смерти* – природа уже давно устроила так, что в любом возрасте и даже при величайшей привязанности к жизни, *сама агония* доводит каждого до равнодушия к жизни и *примирения со смертью.* Один мой знакомый, сотрудник южной газеты, присутствовал на казни целого сообщества революционеров и умудрился поместиться за спиною палача. Первые два казненных быстро скончались. Но третий стал метаться в неистовых судорогах, хватая воздух руками… Репортер невольно выругал палача. Но тот спокойно возразил: «Ничего! *Ен дойдет!»* И действительно, вскоре тело под саваном затихло… Так же «дойдет» и каждый из нас. Я знал трусливейших жизнелюбивых людей, которые в мучениях болезни

со страстью прибегали к яду и умерли от жадного глотания всех остатков морфия, прописанного им только для облегчения припадков.

Да, наконец, ни простокваша, ни кишечная гигиена никого не застраховывают, например, от задавления экипажем (смерть Кюри, открывшего радий) или от убиения камнем, упавшим с шаткой постройки, и т. д.

Кажется, о «научной философии» Мечникова сказать больше нечего.

Заканчивая поэзию и литературу прошлого века и не повторяя того, что мною сказано в статье «Приезд Ришпэна», остановлюсь только на Метерлинке.

В девяностых годах этот бельгиец сразу овладел всеобщим вниманием. Он был особенно близок мне, потому что в новой и чудесной форме коротеньких пьес «L'intruse», «Les aveugles»[16] и др. воспел ту «мистику будней», которая была моей всегдашней верой. Вспомните: «Все непонятно и все необходимо»(Розанов), «Так вот где таилась погибель моя! Мне смертию кость угрожала» (Пушкин), «Где ждет меня судьба с неведомым известьем, Как с запечатанным письмом» (он же).

При появлении Метерлинка традиции 60-х годов были еще так крепки, что когда в театре Суворина, ставившего все европейские новинки, впервые поставили «L'intruse» – весь зал хохотал… Спустя три года, когда роль Прохожего талантливо сыграл актер Михайлов, публика держалась приличнее. А когда еще позже, в том же театре Станиславский поставил «L'intruse» и «Les aveugles», все почувствовали их очаровательность. В «Синей Птице» Метерлинк еще раз остановился на таинственном и фантастическом содержании жизни, но это уже был конец. Поэт женился на актрисе, сочиняет для нее никому ненужные пьесы, занялся пчеловодством, написал даже книгу о смерти, предвосхитив мою тему, но в этом произведении он уже обращается к «спиритизму», то есть к тому, что я отверг еще в детстве.

Помимо Метерлинка, к концу прошлого и к началу нынешнего века, появились «богоискатели», «декаденты» и т. д. Вообще, чувствуется возврат к религии. Быть может, все это лишь качание «Маятника Вечности», о котором я писал: «Нет Бога» – «Есть Бог». И мы находимся лишь на очередном ударе этого Маятника.

Есть еще одна Тайна, столь же великая, как Бог и Смерть – Тайна Половой Любви. О ней распространяться не буду, по причинам, ранее высказанным в этой книге. Достаточно назвать такие вечные произведения, как «Ромео и Джульетта», «Фауст»,

«Демон». Пушкин склонялся перед «святыней» женской красоты… Для позитивистов здесь существует только «инстинкт», или «приятное раздражение сетчатой оболочки глаза», но для поэтов – глубочайшие душевные соединения с женщиной, разрыв которых смертию непостижим до полного отчаяния… «Страдающий атеист» Ришпэн говорил, что если бы он верил в Бога, он бы его проклял за смерть, расторгающую любовный союз сердец. Но Луиза Аккерман глубже и сильнее взяла вопрос. Вот два чудесных отрывка из ее сборника, не переводимых по своему совершенству:

Et toi, serais tu donc à ce point sans entrailles,
Grand Dieu, qui dois d'en haut tout entendre et tout voir,
Que tant d'adieux navrants et tant de funérailles
Ne puissent t'émouvoir?
Et quand il régnerait au fond du ciel paisible
Un être sans pitié qui contemplât souffrir,
Si son oeil éternel considère impassible
Le naitre et le mourir…[17]
Sur le bord de la tombe, et sous ce regard même,
Qu'un mouvement d'amour soit encore votre adieu,
Oui, faites voir *combien l'homme est grand lorsqu'il aime*
Et pardonnez à Dieu![18]

Один поэт проклинает, а другой прощает Бога…
Но пора сделать какие-нибудь выводы.

* * *

Моя вера ближе всего к поэзии Лермонтова, разбавленной осторожными мечтаниями Пушкина.

Помню, что когда Спасович выслушал в нашем кружке мой этюд о Лермонтове, он взволновался, задумался и сказал: «Это замечательно…» Загадочный Пассовер вырезал и сохранил мой очерк, когда он был напечатан. В газетных рецензиях говорилось, что я «открыл Лермонтова». Упоминаю об этом вовсе не для самовосхваления. Я только следовал своему чувству, своему призванию.

И вот теперь, когда я высказал все муки моего разума перед безднами Вселенной, с кажущимся отсутствием места для Бога, – я забываю все мои вопросы и сомнения, вспоминаю бессмертные две строки:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Пускай же самый яркий позитивист станет в пустыне, под дивным куполом ярких, бесчисленных звезд, и он, хоть на секунду, вопреки разуму, почувствует Бога!

А Лермонтовская «Молитва»?

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Л. Толстой в «Казаках» испытывал такую же непередаваемую радость от тех минут, когда он чувствовал, что «есть Бог». И есть ли в жизни какое-либо подобие утешения при утрате близких, как не то же невольное чувство?! Один знаменитый хирург, на могиле своего единственного сына, вырезал текст из *слова Божия:* «Я тебя взял, потому что возлюбил…» Ведь для любящего отцовского сердца иной причины и придумать нельзя.

Мне едва ли было пять лет, когда во сне я видел Бога «под самым куполом небес». В поэме «На утре дней» я это описываю, когда говорю, что перед героем поэмы

Раскрылась грудь владыки мира…
И в ней был свет – и в эту грудь
Ему открылся тайный путь…

В старой тетради я нашел свое ненапечатанное четверостишие:

Во мне живет незримый собеседник,
Мой тайный мир знаком ему, как мне.
Он милый гость в душевной тишине,
А в горести – то друг, то проповедник.

Это моя Совесть, мой Бог – или толстовское «Царство Божие внутри нас». С этим я родился, прожил и умру.

Пушкин гениально определил начало и конец жизни:

…Мы вянем, дни бегут;
Невидимо *склоняясь и хладея,*
Мы близимся к *началу* своему.

Другой стихотворец, пожалуй, сказал бы, что мы близимся к *пределу* своему, то есть к концу, а у Пушкина «к *началу*». Люди, тонувшие или вынутые из петли, рассказывают, что перед потерею сознания они сразу, в несколько секунд, видели всю свою жизнь от рождения – от *начала.* То же повторяется в старости, приближающей нас к смерти, уже, естественно, без всяких особых поводов. И здесь так же ярко вспыхивает самое раннее детство – *начало жизни.* И вот, при удивительно ясном воспоминании об этом начале, у меня есть вполне определенное чувство, что я чем-то был и *до рождения,* меня потревожили и ввели в эту «видимую жизнь»… Не есть ли это «изгнание земное», о котором говорит Пушкин, – или принесение Ангелом «младой души для мира печали и слез», воспетое Лермонтовым? Я чем-то был до рождения и чем-то буду после смерти. Значит, смерти нет. Помянем же добрым словом «изгнание земное»!

В смиреньи сердца надо верить
И терпеливо ждать конца.

(Стихи Баратынского, вырезанные на его могиле)

Помню, как умирала старая англичанка, окруженная любимыми и любящими детьми. Она им сказала: «Ну, теперь я усну. Быть может, и не проснусь. А вы, дети мои, не страдайте из-за меня. Суждено ли нам когда-нибудь увидеться или нет, – об этом лучше меня знает мой Бог».

Да! И жизнь, и смерть выше нашего разума. Отсюда источник всех религий. Под религией я разумею *невыразимое стремление души человеческой к оправданию Бытия, то есть к неведомой, внежизненной справедливости.* Возьмите богослужения всех культов, искусство, музыку и поэзию всех народов. Пусть это мечты! Но это невыразимое стремление, не умирающее в душе до последнего часа жизни – для меня выше и благороднее всего видимого мира…

Я закрою глаза на здешний мир с тем же недоумением, с каким я их впервые раскрыл.

А вы, все прочие, остающиеся люди-братья, разве что-нибудь поймете после меня?..

Дело в Варшаве

Рассказ из судебной практики[19]

I

Как-то в конце весны, незадолго до катастрофы с Плеве, меня пригласили защищать в Варшаве молодого человека, Гурцмана, замешанного в одном страшном убийстве. Четверо человек из полиции и охраны были убиты наповал при жандармском обыске. Судились двое, Каспржак и Гурцман. Это убийство произвело панику. Ничего подобного при Плеве еще не совершалось. Преступление было немедленно передано в военный суд и подсудимых ожидала виселица. Из прочитанных бумаг и разговоров с близкими Гурцмана, я убедился, что этот юноша был нелепым образом припутан к деянию, совершенному исключительно лишь другим подсудимым, Каспржаком, по его личной воле и побуждениям.

Вот сущность дела. Каспржак – сорокапятилетний социал-демократ, издавна составивший себе громкую репутацию в Пруссии, намеченный уже депутатом в рейхстаг от своей партии, навестил Россию в целях пропаганды лет за пять перед настоящим процессом. Держал он себя тогда настолько неосторожно, что его арестовали в Варшаве. В тюрьме он обнаружил признаки душевного расстройства. Его поместили в больницу Яна Божеского на испытание. Спустя четыре месяца он распилил железную решетку в окне своей камеры, вставив вместо нее решетку, вылепленную из черного хлеба, и бежал за границу. Его побег был замечен только через сутки. Затем он благополучно работал в Германии, но весною 1904 года его снова потянуло в Россию, в виду сильно развивавшегося здесь рабочего движения. Он предпринял поездку в Лодзь и Варшаву, чтобы убедиться, насколько преуспевает социализм в России, и поддержать революцию. В Лодзи он пробыл три дня, ютился у бедняков, повидался с кем следует и прибыл в Варшаву, где несколько его единомышленников были секретно извещены о его приезде. Он взял тесную комнатку на окраине, у бедного сапожника.

К тому времени юный технолог Бенедикт Гурцман, знавший Каспржака только понаслышке, тотчас по окончании курса примкнул к социал-демократам. Один из товарищей уведомил его о прибытии Каспржака и обязал его принести к известному часу в комнатку сапожника запас бумаги для набора прокламации, сочиненной Каспржаком. Новичок Гурцман и старый социалист Каспржак встретились без долгих объяснений. Передав Каспржаку бумагу, Гурцман присел у окна и стал читать газету, а Каспржак занялся набором прокламации. Их окружала тишина. Было четыре часа дня.

Тайная полиция не имела никаких сведений ни о приезде

Каспржака, ни о прикосновенности Гурцмана к социалистическим учениям. Она искала в этот день лишь того молодого человека, который послал Гурцмана к Каспржаку, и, не застав преследуемого в его квартире, направилась к сапожнику, у которого, по сведениям полиции, этот юноша бывал. Полиция ловила этого юношу совершенно независимо от его сношений с Каспржаком и Гурцманом. И вдруг в квартире сапожника разыгралось ужасное кровопролитие.

Гурцман, читавший газету, услыхал за дверью русскую речь. В предместьи Варшавы это было необычайно. И он шепнул Каспржаку: «Кажется, полиция». Каспржак немедленно прикрыл бумагою шрифт и всю свою работу. В дверь постучали. Каспржак ее открыл. На пороге показался чиновник охранного отделения. Каспржак вынул револьвер, выстрелил и убил его сразу. Из-за него высунулся околоточный. Каспржак убил и его. Двое городовых, пытавшихся проникнуть в комнату, были также повалены выстрелами.

Побледневший, оторопевший Гурцман решительно не понимал, что творится. Он инстинктивно пытался вырваться из комнаты. Перешагнув через два трупа и двух умирающих городовых, он выбежал во двор. Каспржак продолжал защищаться один, сцепившись с последним городовым, ворвавшимся в комнату за несколько секунд перед побегом Гурцмана, так что убегавший Гурцман задел этого городового или наткнулся на него, пробираясь наружу. Выстрел Каспржака в этого городового был неудачен. Городовой отнял у Каспржака револьвер и хотел тут же убить его, но револьвер не выстрелил (оказалось, что в шестиствольном револьвере Каспржака было всего пять зарядов). Но и последнего городового Каспржак все-таки одолел, ранив его в щеку ножом. Тогда городовой выбежал почти вслед за Гурцманом.

Каспржак остался в опустевшей квартире сапожника. Вокруг него валялись его жертвы: два трупа и два агонизирующих. Но он дошел до такого бешенства, что перед тем, как выйти, схватил сапожный нож и нанес им еще несколько ран, как мертвым, так и умирающим. Наконец, и он выбежал во двор.

В то время Гурцману уже скрутили руки за спину и разбили до крови нос. Наконец, поймали и Каспржака.

Таково истинное содержание дела, каким оно мне выяснилось на суде. Расскажу теперь о суде.

II

Я выехал в Варшаву 17 июля вечером. В этот день утром похоронили Плеве. Подъезжая к Варшавскому вокзалу, я еще видел перебитые окна во всех этажах гостиницы на месте взрыва. Стекла были, собственно, не разбиты, но прорезаны продолговатыми дырками разной формы, в виде языков, лапчатых листьев, треугольников и т. п. В то время, как я обозревал эти ряды израненных стекол, представляя себе грохот и силу потрясенного воздуха, Плеве уже покоился недалеко от вокзала, за оградою Новодевичьего монастыря.

По приезде в Варшаву, я прежде всего обсудил дело вместе с моими товарищами по защите, польскими адвокатами Киеньским и Патеком. Оба – очень талантливые люди. Киеньский – опытный юрист, с профессорской эрудицией, весьма корректный, но недоверчивый и щепетильный в сношениях с русской юстицией. Патек – молодой воодушевленный оратор, находчивый, с искренними интонациями и привлекательными манерами.

Мы видели, что в случае осуждения виселицы неизбежны. Надо было постараться извлечь дело из рук военного суда. У нас были к тому законные основания. Ведь подсудимые подводились под смертную казнь только благодаря состоявшемуся между Плеве и Муравьевым особому соглашению для настоящего дела по правилам усиленной охраны. Между тем, после этого соглашения, Плеве провел и опубликовал закон о суждении впредь всех политических убийств в судебных палатах, с участием сословных представителей (чем, кажется, спас только собственного убийцу, Сазонова). Значит, новый общий закон должен был парализовать ту исключительную процедуру, к которой прибегали, до его издания, Плеве и Муравьев для дела Каспржака. По меньшей мере, следовало потребовать, чтобы министры уже за свой страх вновь обошли только что изданный общий закон и вновь потребовали общей подсудности для нашего дела.

Все это мы обстоятельно написали и подали наше заявление в суд накануне процесса. Суд собрал экстренное распорядительное заседание и оставил нашу просьбу без последствий, на том простом основании, что закон об усиленной охране остался неизмененным.

Тогда я попросил у председателя свидетельство для свидания с подсудимым. Оно было уже заготовлено и подписано на печатном бланке. Пока я пробегал бланк, председатель, следивший за моим чтением, проговорил:

– Вы увидите, что слово *наедине* (в свидетельстве о свидании) зачеркнуто. Это потому, что у нас, по распоряжению администрации, при свидании защитника с подсудимым, всегда

находится жандарм. Все равно, если мы и не зачеркнем слова *наедине,* – это будет так. Я вас предупреждаю.

– Да, но зачем же вы зачеркиваете?..

Я ограничился этим вопросом. Мне было известно, что у Киеньского эта характерная мелочь уже оформлена на случай кассации. Соображая в то же время, что жизнь Гурцмана зависит от этого самого председателя, я добавил, что временно примиряюсь с этим незаконным порядком только потому, что у нас с Гурцманом нет никаких тайн, и что весь наш разговор на свидании может быть даже теперь оглашен перед судом. И отправился в цитадель.

Гурцман содержался в «павильоне» для политических. Таким идиллическим словом именовалась та казарма, в которой мы встретились. Арестанта вывели в довольно светлую и большую комнату «для свиданий», где поодаль от нас, но самоуверенно и спокойно, поместился молодой, усатый, прекрасно упитанный и, в сущности, совершенно равнодушный жандармский офицер.

У Гурцмана было истинно прекрасное, классически правильное юношеское лицо. Речь его была искренняя, кроткая, спокойная. Несмотря на путаницу свидетельских показаний, он логически не допускал, чтобы суд не доискался правды. Он строго разбирался во всех впечатлениях своей памяти и доказывал, что его объяснения не могут быть опровергнуты. Он не ожидал всех происшедших убийств, он сам их испугался. В отношении своих политических взглядов он мне поведал, что принадлежит к чистым социалистам, отвергающим насилие. Он практически перенес на себе труд рабочего и убедился, что пользоваться жизнью, когда все наши удобства покоятся на нечеловеческом существовании больших масс, просто стыдно, совершенно недопустимо. Поэтому он посвятил себя рабочему движению в защиту всех обездоленных. Я видел перед собою в лице этого юноши теоретически непреклонный ум в соединении с сильною волею практического идеалиста.

Молодой, красивый, любимый в семье, даровитый музыкант, Гурцман легко переносил целые месяцы одиночного заключения, будучи поглощен своими идеями, проводя время в чтении философских книг и писании каких-то заметок (что ему разрешалось).

Я плохо надеялся на правосудие; знакомство же с подсудимым окончательно убедило меня в его непричастности к пролитию крови.

На следующий день, утром 20-го июля, при ярком солнце, я пошел с своими бумагами на Краковское Предместье, в военный суд, помещавшийся во дворе большого казенного здания. Ворота

были заперты. Множество полицейских в белых кителях стояло у входа. Подсудимые были провезены в суд секретно, под усиленным конвоем. Меня пропустили по документам. Заседание было строго закрытое, но весь зал был наполнен любопытствующими жандармами всех возрастов, одетыми по-летнему в белом. Среди них, на одной из скамеек, выдавалась женщина в трауре. Это была жена Каспржака, вызванная свидетельницей, чтобы удостоверить его личность, так как он упорно называл себя Майером. Она еще не была отведена в свидетельскую комнату и, по словам защитника Каспржака, старалась теперь разузнать, «выдадут ли ей труп мужа»… Женщина лет тридцати, бледная, с тонкими чертами лица, мутными серыми глазами, приподнятыми бровями и резкой линией сжатых, бескровных губ. Родом крестьянка из-под Варшавы, повенчанная с Каспржаком в Лондоне, сперва гражданским браком, а затем и по католическому обряду, она не видала мужа со дня его отбытия из Познани. Ее траурное платье было совершенно простое, но дамского фасона – не крестьянское. Перед открытием заседания ее удалили.

Вышел суд. Приказали ввести подсудимых.

Из маленькой двери, ведущей на возвышенное место за решеткой, сперва показались два конвойных с ружьями, затем Каспржак, затем еще два конвойных, за ними Гурцман и еще два вооруженные солдата. Подсудимые смотрели дико. Суд чувствовал себя безопасно, видя хорошую и надежную охрану. Оба преступника были в сером арестантском платье.

Каспржак заметался во все концы отгороженного места для подсудимых, толкаясь между солдатами. Он имел вид, как будто его только что схватили. Это был худощавый красивый человек с косыми странными глазами, с остриженной головой и беспорядочною седоватою растительностью на давно небритом лице. Казалось, что судебный зал представился ему чем-то неожиданным, ослепившим его сразу. Он закидывал голову назад и шагал, озираясь во все стороны, держась большею частью спиною к суду. Гурцман стоял спокойно.

Когда Каспржак угомонился и сел, председатель предложил ему через переводчика обычные вопросы о виновности. Он не встал, а в ответ переводчику сиплым голосом крикнул: «Я сам всех забил». Гурцман дал вполне ясные ответы на все вопросы председателя.

Началось разбирательство.

Все свидетели согласно показывали, что стрелял и наносил раны только Каспржак. Но из путаницы показаний на предварительном следствии о том, кто первым выскочил из

квартиры, Каспржак или Гурцман, в обвинительном акте набрасывалось подозрение на Гурцмана, будто он, после выхода Каспржака, приколол умирающих. Намекалось и на то, что Гурцман не перескочил через городового, боровшегося с Каспржаком, а сдернул его с Каспржака. Поэтому оба предавались суду за то, что, завидев из окна приближавшуюся полицию, совершили убийства совместно, по предварительному соглашению… Все это оказалось вздором, то есть плодом канцелярски-мертвенной и неумелой записи показаний судебным следователем. Например, показание главного свидетеля, городового, было записано так: «Все время, пока я боролся с Каспржаком, Гурцман оставался пассивным». Я потребовал прочесть эту часть протокола и спросил свидетеля: «Сами ли вы сказали: „пассивный“, или следователь от себя написал это слово?» – Я не говорил… – Тогда прокурор вмешался: «Но ведь следователь тебе прочел твое показание, и ты его подписал». – Точно так. – Но я переспросил: «А следователь объяснил вам, что значит пассивный?» – Никак нет. – «Не догадываетесь ли вы, по крайней мере теперь, что бы это могло значить?» – Не могу знать.

Жалкий вид имели хозяева квартиры, в которой произошли убийства, сапожник и его жена. Оба содержались в тюрьме уже третий месяц и между собою не виделись. Обоих вводили в зал порознь, в сопровождении двух солдат с ружьями. Запуганные и трусливые, они, чуть не сквозь слезы, горячо доказывали суду свою невиновность. Сапожник только и был виновен в том, что допустил к себе Каспржака жильцом. А его молодая жена, высокая блондинка с детскими глазами, с грудным ребенком на руках, убеждала суд, что после неожиданных страшных убийств она боялась решительно всего, что осталось от жильца в его комнате, и потому выбросила на грязную лестницу какие-то черные кусочки, прикрытые платком (это был шрифт).

Ввели жену Каспржака. Она жадными глазами впилась в мужа, но тот даже не поднял головы. Она подтвердила, что это ее муж. Спросили через переводчика Каспржака: так ли это? Он пробормотал: «То есть моя жена», – и тут же резко добавил: «Естэм Майер»(Я – Майер).

Жена Каспржака не выдержала и тут же беззвучно расплакалась, зажимая глаза и губы платком. Дежурный офицер поспешил поднести ей воды, но она отклонила стакан и тотчас оправилась.

Наблюдая эту сцену, Каспржак с недоумением вслух заметил: «Чего она плачет? Вероятно, она есть хочет? И я хочу есть». Последние слова он произнес так решительно, что суд объявил перерыв для кормления Каспржака.

Воспользовавшись мгновением, пока не были уведены подсудимые, жена Каспржака приблизилась к решетке и, вновь закрывая глаза платком, с отчаянием сказала мужу: «Что станется с нашим Ярославом?!» (их маленький сын)… Каспржак рассеянно молчал.

Заметив попытку жены поговорить с мужем, прокурор, еще не ушедший из залы, резко закричал с своего возвышения: «Господин дежурный офицер! Как вы можете допускать разговоры с подсудимыми!»

Подсудимых тотчас увели.

Жандармы и охрана, составлявшие публику, были настроены непримиримо. В особенности молодые во время перерыва говорили о подсудимых с ненавистью: «Не могло быть иначе… Все у них обоих было заранее подстроено… Стольких повалили… Да после этого невозможно производить обысков». Я чувствовал, что они ко мне относятся враждебно, как к человеку, приехавшему вызволять одного из тех, кто грозит их жизни.

При дальнейшем ходе процесса была, между прочим, оглашена прокламация, которую набирал Каспржак. В ней говорилось о нашем позоре на войне, о негодности правительства, о несправедливости существующего порядка, о трудовых деньгах бедного народа, оплачивающего эту бесплодную бойню, и, несмотря на хлесткую резкость языка, все слушатели, собравшиеся в эти закрытые стены, все, не исключая судей и жандармов, сохраняли спокойное, сосредоточенное выражение лиц, как бы невольно допуская, что, пожалуй, во всем написанном много правды.

Потянулись еще новые и новые показания. Все явственнее обозначалось, что ни одной раны Гурцман не нанес, что он убежал от кровопролития, как убежал бы и каждый посторонний.

Опять перерыв. В жандармской публике изменяется настроение. Я услышал фразу: «Пожалуй, Гурцман отделается»… На лестнице, где мы курили, меня обступило несколько мундирных людей, предлагая спички, желая вступить в беседу. Я не удержался заметить: «А что, господа, ведь в прокламации есть горькие истины?» Более солидные из капитанов задумчиво молчали. Я воспользовался этой паузой и сказал: «То-то и есть. Мудреное дело наша жизнь! Мы легко ненавидим друг друга. А где правые, где виноватые – не всегда разберешь…» Моя аудитория настроилась философски. Прежняя прыть исчезла. И опять все вернулись в залы.

Мы просидели в суде весь первый день и разбирали дело почти до вечера следующего дня. Гурцман иногда вмешивался в показания и разъяснял некоторые подробности, но Каспржак,

которому переводилось по-польски каждое показание с присоединением вопроса: «Не желаете ли возразить?», ни разу не взглянул на переводчика и не проронил ни слова.

Нужно заметить, что в виду прежнего подозрения насчет душевной болезни Каспржака, в этот раз на предварительном следствии его осмотрел профессор психиатрии Щербак и нашел здоровым. Однако же, непостижимое равнодушие этого человека, обреченного на казнь, к своей жизни, к семье, к суду и к своему делу, его дикая немота, его лицо, недоступное никаким впечатлениям – все это, видимо, угнетало всех присутствовавших в судебном зале.

В конце судебного следствия давал показания военный врач, объяснявший свойство повреждений, полученных убитыми, происхождение отдельных ран, виды оружия, причинившего те или другие, и т. д.

Вот тут-то и воспользовался защитник Каспржака Патек присутствием на суде какого бы то ни было врача, чтобы поднять вопрос о ненормальности подсудимого. Вопрос был законный, во-первых, потому, что он поднимался ранее, во-вторых, потому, что поведение подсудимого, поражавшее всех, являлось новым обстоятельством в деле. Врач поддержал защитника и сказал, что не решился бы признать Каспржака душевно здоровым.

Патек обратился к суду с увлекательным словом, прося отложить дело и назначить экспертизу. Прокурор возразил, что нормальность Каспржака уже установлена, что отсрочка дела поведет лишь к вторичному побегу Каспржака из лечебницы, если его отдадут на испытание. На это Патек воскликнул: «Возможность побега не есть возражение. Я думаю, что такое могущественное государство, как Россия, сможет ужержать в своих руках одного человека»…

Благодаря единодушию временных судей, дело было отложено впредь до вызова экспертов в новое заседание.

Жандармы уходили из суда в недоумении. Жена Каспржака, спускаясь с лестницы, оживленная надеждой, приветливо улыбнулась в мою сторону, как бы говоря: «До свидания».

Через месяц я вновь приехал в Варшаву, и мы вновь проделали то же самое перед тем же составом суда для того только, чтобы выслушать заключения профессора Щербака и еще одного психиатра. Те же свидетели, в том же виде проходили перед нами и давали те же показания. Сапожник и его жена появились, как и прежде, под конвоем, все еще разлученные и содержимые в тюрьме, и грудной ребенок по-прежнему плакал на руках молодой женщины. Каспржак был так же странен, так же отворачивался от суда, так же упорно молчал. Переводчик

неизменно докладывал ему все свидетельские показания, но он оставался рассеянным или сидел, опустя голову. И только раз он чуть внятно пробормотал про себя: «Все ненужно». Психиатры, выслушав дело, осмотрев подсудимого, нашли необходимым подвергнуть его продолжительному испытанию в лечебнице.

Суд совещался полчаса. Пока мы ожидали резолюции, один из высших чинов полиции, в мундире с иголочки, элегантный и любезный, расхаживая по залу, подошел ко мне и заговорил: «А ведь нам будет большая забота, если отдадут на испытание!..» – Почему же? – «Убежит!!» – Но нельзя же вешать, если он в самом деле сумасшедший? – «Зачем вешать? На то есть Шлиссельбург».

Суд постановил: отдать Каспржака на испытание и затем подвергнуть его освидетельствованию в окружном суде. Ну, значит, еще год жизни Каспржаку, но зато и год тюрьмы Гурцману.

И действительно, никакие попытки выделить дело Гурцмана нам не удались.

III

И еще раз, через год, пришлось разбирать дело. Каспржак был подвергнут испытанию, освидетельствован в окружном суде и признан нормальным. Дело возвратилось в военный суд.

Казалось бы, сколько воды утекло! Был конец августа 1905 г., когда уже выпустили Булыгинскую конституцию, когда революция разгоралась на митингах, когда не только социал-демократы, подобные Каспржаку и Гурцману, но даже социал-революционеры сгруппировались в открытые партии… Каспржак, наглухо отрезанный от мира, конечно, ничего этого не подозревал. Никакие вести до него не достигали.

Но, несмотря на возраставший успех революции, положение Варшавы, благодаря особенному обилию в ней политических убийств, было в ту минуту самое угнетенное. За три дня до моего приезда город был объявлен на военном положении. Я должен был приехать в Варшаву в половине десятого вечера и не знал, допущена ли будет в этот час езда по городу, попаду ли я с вокзала в гостиницу. Но все обошлось благополучно. Встретивший меня брат Гурцмана объяснил мне, что военное положение сказывается только в разъездах по городу патрулей, в более раннем закрытии театров и гостиниц, да еще в необходимости всегда иметь при себе вид на жительство, в особенности в ночное время.

Теперь процесс разбирался уже не в здании военного суда, а в

цитадели. Было опасение, что революционеры освободят подсудимых при перевозке их в суд. Хотя состав суда для каждого длящегося дела должен по закону оставаться тот же, и хотя наших прежних временных судей при желании можно было собрать вновь, но под разными предлогами эти судьи были заменены новыми, и председатель заменил себя «военным судьею».

Предзнаменования были скверные.

В защите Каспржака тоже произошла перемена. Патек уехал за границу. Вместо него выступали: местный присяжный поверенный Гляс и московский Стааль, всюду разъезжавший на «военные» защиты.

Цитадель находится за городом. С полверсты надо ехать полем. У крепостных ворот осмотрели мой паспорт и, сверх того, поставили солдата на приступку моей извозчичьей коляски. К чему был этот солдат, я не понял, так как он даже не знал, в каком из крепостных зданий происходит суд, и мы только от встречных рядовых узнали, что судят в офицерском собрании, то есть в клубе. Я поднялся и вошел в длинный пустынный танцевальный зал. В глубине, под царским портретом, устроили стол с красным сукном для судей. Люстры и продолговатые бальные диванчики без спинок, тянувшиеся вдоль окон, были покрыты белыми чехлами. Окна выходили в сад. Высокие зеленые деревья шумно качались под ударами ветра. Наше заседание совпало с так называемой «тршиднювкой», то есть трехдневной осенней бурей с дождем.

И в третий раз пришлось мне видеть и слышать то же самое. Разница была только в том, что Гурцман был теперь не в арестантской куртке (которая оставалась на Каспржаке), а в сюртуке; да еще в том, что сапожник и его жена явились уже без стражи. Не знаю, сколько они пробыли в заточении. Очевидно, их помиловали в административном порядке. Это нисколько не повлияло на их показания. Они только имели вид успокоенных людей, которым, наконец, оказана справедливость.

И Каспржак как бы затих. Лицо его было утомленное, молчание – глухое, неодолимое.

Защитники Каспржака просили вызвать в заседание психиатров, свидетельствовавших его в суде, и еще новых. Военно-окружной суд отказал. Главный военный суд составил такое толкование, что если подсудимый был освидетельствован в гражданском ведомстве и признан нормальным, то уже нельзя разбирать вопроса о его душевной болезни в военном суде. Какая прямолинейность! А вдруг подсудимый как раз ко дню заседания сойдет с ума? А вдруг более авторитетные врачи убедят военный суд, что прежние ошиблись? Ведь суд сохраняет право

согласиться или не согласиться с заключением экспертов. Какой же смысл не дозволять даже их вызова? Неужели так важно сократить заседание на каких-нибудь два-три часа, чтобы, ради этого удобства, можно было рисковать осуждением сумасшедшего?

Председатель установил, что заседание каждого дня будет оканчиваться в семь часов вечера. Иначе участники процесса подвергались бы неприятностям военного положения при возвращении в город в позднее время. Желающие могли обедать здесь же, в столовой клуба. Во время обеденного перерыва все мы, за исключением председателя, соединялись за общим столом. Офицерская кухня была незатейливая и довольно плохая. На одном углу обеденного стола присаживались прокурор и временные судьи, а затем, вперемешку, наша публика, – секретарь, переводчик, кое-кто из жандармов и наконец мы, защитники. Разговаривали, понятно, о чем угодно, но только не о деле, как будто мы здесь соединились совершенно случайно, неизвестно зачем. Из столовой вела открытая дверь в грязный буфет, а оттуда был ход в маленькую бильярдную с дешевым бильярдом. В эту половину клуба мы удалялись для курения. Здесь иногда мы беседовали с некоторыми жандармами и служащими в крепости.

Заседание длилось три дня. Каждое утро, подъезжая к цитадели, я видел, как жена Каспржака, под дождем и бурею, в простой соломенной шляпке с широкою черною лентою, твердым шагом пробиралась по траве к стенам крепости. Чего она ждала? Во что верила?

Разбирательство происходило в безлюдной обстановке. Интерес к делу остыл. Жандармы и полиция были поглощены другими делами. Во время перерывов, из разговоров, мы поняли, что среди временных судей только один имеет самостоятельный голос, но остальные, будучи добрыми и хорошими людьми, слишком подневольны, слишком поддаются давлению председателя.

На третий день, после чтения некоторых документов, начались прения. Прокурор поддерживал обвинение целиком, то есть говорил, что и Каспржак, и Гурцман совместно убивали полицейских. Но на случай, если бы суд нашел, что Гурцман не наносил ран, прокурор доказывал, что он все-таки виновен в попустительстве, то есть в том, что, имея возможность предотвратить убийства, удержав Каспржака за руку или толкнув его под локоть во время выстрелов, Гурцман, тем не менее, сознательно и намеренно допустил совершение всех злодеяний Каспржака. А потому прокурор требовал виселицы для обоих.

Защитник Каспржака, присяжный поверенный Гляс, болезненный, нервный человек, глухим, как бы сдавленным голосом из глубины груди выкрикивал требование не прибегать к казни, не выслушав экспертов. Он с убеждением говорил, что это будет попранием элементарных требований правосудия, что это будет не приговор, а убийство.

Бог весть, что подействовало на Каспржака, – интонации ли отчаяния в голосе защитника, звучавшие так болезненно, содержание ли его речи, или собственный внезапный бред, – но среди этой защиты Каспржак, худой, бледный, весь трясущийся, поднялся, вытянулся во весь рост, чуть не стал на цыпочки – и высоко поднял свой кулак, глядя прокурору в лицо, мыча, сопя, задыхаясь, готовый издать крик… На него набросились конвойные.

Присяжный поверенный Киеньский быстро отдернул меня в сторону, говоря: «Отойдите. Я видел его глаза. Он в эту минуту сумасшедший. Он убьет всякого».

Подсудимых увели. Заседание было прервано. За дверьми послышался неистовый крик Каспржака. Эти страшные вопли без слов разносились по всему зданию минут десять. Потом утихли. Когда подсудимый совершенно успокоился, нас вновь позвали в зал.

Второй защитник Каспржака, Стааль, пытался примирить суд с личностью подсудимого. Он говорил, что всякому понятна привязанность к отцу, матери, жене, детям, и многое, что делают люди во имя этой любви, им прощается. Но не всем ясно, что существует любовь высшего порядка, любовь к человечеству вообще, к большой массе наших страждущих собратий. Такой именно любви Каспржак посвятил всю свою деятельность. Стааль все это объяснял без пафоса, скорее тоном профессора. Так нужно было говорить, потому что, несмотря на общеизвестность темы, чувствовалось, что подобные мысли для большинства этих судей были трудною новою наукою, которую они выслушали серьезно, но без малейшей восприимчивости.

Наша задача с Киеньским казалась нам легкою. Киеньский коснулся юридической стороны обвинения, а затем установил отсутствие доказательства, чтобы Гурцман участвовал хотя бы в едином насилии против полицейских. Я говорил о том, что Гурцман только запутан в деле, но невиновен. У него не могло быть мотивов к убийству. Иное дело – Каспржак. Тот, пользовавшийся свободною проповедью своих идей в Германии, уже испытал однажды, как дорого расплачиваются за ту же проповедь в России. По природе вольный и непосидчивый, как птица, он вспоминал варшавскую крепость, больницу для

сумасшедших… Неистовая ярость овладела им. Он решился пролить сколько угодно крови, чтобы только вырваться от оцепивших его людей и бежать без оглядки. А Гурцман? Арест не пугал его. Он всего несколько месяцев тому назад заинтересовался социалистическим учением. Он, быть может, даже не прочь был пострадать за свои идеи. Да, наконец, и по своим взглядам он был противник насилия. И так как Гурцман за принадлежность к социал-демократической партии будет еще судиться отдельно от настоящего дела, в судебной палате, то военному суду предстоит только совершенно ясная обязанность: оправдать Гурцмана в убийствах, совершенных Каспржаком. Гурцмана еще обвиняют в том, что он не помешал убийствам. Но ведь он был безоружен, и Каспржак убил бы его, как всякого другого, если бы он к нему прикоснулся. Ведь даже полицейские прятались от выстрелов Каспржака в сарай. Как же требовать от частного лица, чтобы оно жертвовало своею жизнью для поимки преступника?

На этом кончились прения. Суд удалился для совещания. Зная, что совещания военного суда всегда чрезвычайно продолжительны, мы принялись блуждать по клубу, присаживаясь то в столовой, то в бильярдной. Жандармский капитан, из оставшихся свидетелей, отозвался о моей речи: «Просто и ясно». Начальник охраны, видимо убежденный, вполне добродушно сказал мне: «Я готов с вами согласиться. Гурцман в убийствах ни при чем».

А мы, защитники, все-таки чувствовали угнетение. По нескольку раз я возвращался в залу, и как-то увидел Стааля, присевшего на одном из бальных диванчиков возле жены Каспржака. Когда он отошел от нее, я его спросил:

– Разве вы говорите по-польски?

– Плохо. Но она все понимает по-русски. Тяжело ей теперь. Поговорите с ней и вы.

Я осведомился о ее сыне и муже. Узнал, что сын здоров, что муж за это время, в течение более года, при ее посещениях не сказал ей ни слова. На свиданиях неизменно присутствовали посторонние. Муж, сколько она помнит, постоянно был в разъездах и заботах. Семью любил, но своих чувств не показывал. Мальчик обожает отца.

– Похож ли он лицом на мужа?

– Бардзо мало.

– А умом, характером?

– Трохе так…

И она улыбнулась.

Бледное лицо госпожи Каспржак, ее простые слова, ее мягкий

голос – все это было воплощением глубокого горя, сдерживаемого сильной душой.

В это время в зале суда уже сделалось темно. Сторожа начали протискивать в двери высокую лестницу, чтобы снять с люстры белый чехол, окутывавший электрические лампочки. И когда лестница возвысилась до белого чехла люстры, мне померещились виселица и саван… Холод пробежал у меня по спине. Тяжко мне было смотреть на этот зал и на закрытую дверь совещательной комнаты… По счастью, г-жа Каспржак, ушедшая куда-то далеко в свою печаль, опустила голову и ничего окружающего не замечала.

Сняли чехлы с люстры. Зал осветился электричеством. Совещательная комната по-прежнему не подавала признаков жизни.

Но вот засуетились сторожа. Откуда-то прошел слух, что приговор подписан. Послали за подсудимыми. Я попросил Киеньского выслушать приговор за нас обоих, а сам удалился через коридор в столовую. Я шагал по ней в одиночестве довольно долго. Очевидно, в приговоре что-то неладное. Если бы Гурцман был оправдан, ко мне бы тотчас же кто-нибудь прибежал. Наконец, и самый шум вдалеке как-то сразу затих. Я поторопился узнать, что произошло. У порога зала мне сообщили, что Каспржак присужден к повешению и уже уведен, а Гурцман (еще находившийся в комнате перед залом), – к пятнадцатилетней каторге. Я застал его в обществе брата и Киеньского. Часовые не препятствовали нашим разговорам. Бодрее всех нас был Гурцман. Лицо у него было довольное, глаза – веселые, разговор – искренно-спокойный. Он поцеловал меня и, как бы утешая, твердым голосом сказал: «Очень важно, что они все-таки поняли, что я не убивал» (его признали виновным только в «попустительстве»).

Гурцмана удалили, и мы разъехались.

На следующий день ко мне приехал брат Гурцмана, после нового свидания с ним. Он рассказал, что осужденный Бенедикт предвидел каторгу как лучший исход, и уже имеет все сведения о маршруте. Он даже интересуется каторгой, желает испытать ее, как Достоевский. Да, пока силы молоды. Но ведь срок ужасен! Для изучения каторги из любознательности довольно и месяца. Лучшая пора жизни пропадает. А главное – за что же?!

Я отправился в суд. Председатель военно-окружного суда (не тот «военный судья», который подписал приговор, а тот, который вел два предыдущие заседания) сладостно-мягким голосом утешал меня: «Для Гурцмана сделали все, что было возможно».

Ну что на это сказать?! Думаю, что если бы дело разбиралось

публично, то и суд не припутал бы Гурцмана к убийству. Но процесс велся не публично. Всей Варшаве было известно, что на месте преступления пойманы двое, а убитых – четверо. Кто не знал подробностей, тому должно было казаться, что эти двое одинаково виновны, тем более, что Гурцман – молодой еврей (значит, террорист), да и недаром же оба, Каспржак и Гурцман, целых полтора года просидели за эти убийства в тюрьме. Как же было после этого объявить публике, что Гурцман совсем невиновен в кровопролитии? Скажут: пристрастие, вольнодумство, слабость. А генерал-губернатор? Ведь тот не читает свидетельских показаний. А между тем надо, чтобы в крае все знали о его строгости, чтобы ему никто не приписывал непонятных нежностей к преступникам. Накануне произнесения приговора был смещен Максимович, и власть перешла к Скалону. Военный суд, очевидно, не пожелал дебютировать перед Скалоном оправданием Гурцмана. Новый генерал-губернатор не дозволил осужденным подавать кассационные жалобы. Много интересных юридических вопросов погибло под этой резолюцией.

Каспржак был повешен.

Гурцман, по манифесту 23 октября 1905 года, получил сокращение каторги до пяти лет. Дело о принадлежности его к социал-демократической партии, в силу того же манифеста, прекращено.

Отец осужденного подал прошение государю. Прошение пошло к военному министру, а тот передал его генералу Павлову. Генерал Павлов нашел, что приговор достаточно смягчен по манифесту и отклонил доклад.

Гурцман отбывает каторгу. Жизнь юноши, конечно, загублена…

Рассказываю же я это для того, чтобы напомнить о судьбе невинно осужденного. Не ясно ли, что здесь возможна полная амнистия?

notes

Примечания

1

Предварительное следствие было просто нелепо. В нем проводилось положение, будто убитый не мог вынуть своей шашки из ножен. В подтверждение этого упрямого непонимания вещей были собраны разные поверхностные доказательства. Я разгадал ошибку и выставил все доводы к ее разоблачению. Но только после отмены Сенатом первого решения Тифлисской палаты, второе решение этой палаты согласилось с моей аргументацией. В конце концов каторга была заменена арестантскими отделениями.

2

Дорогие друзья! Когда я умирал… *(фр.)*.

3

«Как жаль! Такой трудолюбивый!» *(нем.)*.

предстать во всеоружии… *(фр.)*.

5

«Больше света!» *(нем.)*.

6

В сущности, это письмо Л. Толстого – пересказ буддийской кармы. Позже, в 1904 г., Толстой высказался проще и лучше. «Я ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот в руки Твои предаю дух мой. И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять – это Он знает, а не я» (З. Гиппиус, «Suor Maria»).

7

«Это рак мозга» *(фр.)*.

8

«Никто никого не понимает» *(фр.)*.

9

«Мы живем, чтобы сказать, что мы жили» *(фр.)*.

10

«Я понимаю, что можно отдать тело, не отдавая души, но если отдала душу, то никому другому уже не отдашь тело» *(фр.)*.

11

«Не понимаю, что со мной. Я глубоко несчастна. Мне не остается ничего, кроме больницы или монастыря» *(фр.)*.

12

У Татьяны Львовны Бертенсон.

«как комок грязи» *(фр.)*.

14

– Значит, это конец света?
– Да, конец.
– То есть конец света вот-вот наступит?
– Да.
– И что же потом?

(фр.).

15

Противоположности сходятся! *(фр.)*.

«Непрошенная», «Слепые» *(фр.)*.

17

Неужели Ты настолько бесчувствен,
Великий Боже, Ты, который со своих высот должен все видеть и слышать,
Что душераздирающие прощания и обилие похорон
Тебя не трогают?
Да и как бы царило в безмятежной небесной глубине
Это безжалостное существо, созерцавшее наши страдания,
Если бы его взгляд не столь безучастно следил
За рождением и смертью…

(фр.).

И на краю могилы, под этим взглядом,
Пусть и прощанием вашим станет движение любви.
Да, покажите, как велик человек, когда он любит,
И простите Господу!

(фр.).

19

Этот единственный отрывок из «Книги» был напечатан в «Вестнике Европы». Редакция кое-где прошлась по рукописи.

10 дек. 1907 года я получил письмо от брата осужденного. Отбыв свою каторгу, Бенедикт отправлялся в ссылку в Баргузинский уезд Забайкальской области. 17 ноября он заболел и спустя две недели скончался в г. Баргузине, где и погребен. Судя по телеграмме, полученной родными за день до смерти, нужно думать, что смерть произошла от аппендицита с очень тяжелым течением.